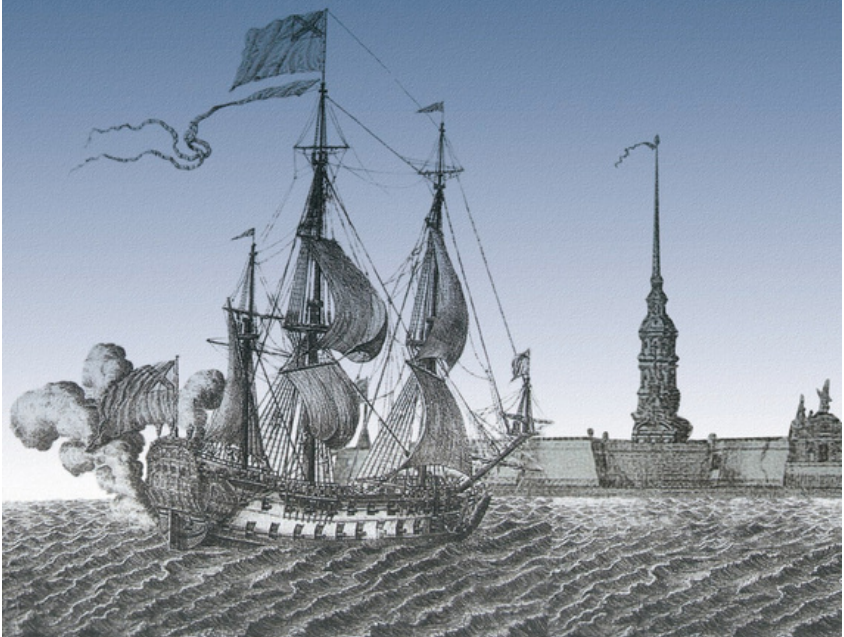
Дмитрий Спивак

МЕТАФИЗИКА ПЕТЕРБУРГА

Историко-культурологические очерки



Дмитрий Леонидович Спивак

Метафизика Петербурга. Историко-культурологические очерки

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6538868

Аннотация

Монография посвящена восстановлению доминант такого оригинального и плодотворного феномена отечественной культурной традиции, как «петербургский миф» – прежде всего так, как они видятся через призму взаимодействия города с его ключевыми культурными партнерами, а именно «немецким миром» и «французской цивилизацией». Особое место уделено многообразным культурным контактам, опосредовавшим включение в состав «петербургского мифа» элементов исторически предшествовавших городу на Неве, субстратных для него культур прибалтийско-финских народов, шведов, а также византийской духовной традиции.

Содержание

Введение 4
Глава I. Северная столица 14
Финская почва 14
Город у финской границы 14
«Пригородные финны» 38
Голос болот 48
Голос камней 91
Конец ознакомительного фрагмента. 93

Д.Л. Спивак
Метафизика Петербурга. Историко-культурологические очерки

Введение

Петербургу исполнилось триста лет. Под впечатлением юбилейных торжеств естественным будет мысленно обратиться к основаниям города, подтверждая их крепость и утверждая свою внутреннюю связь с ними. Исходным тезисом историософии Петербурга всегда было то, что город основан был практически на пустом месте и неким чудесным образом почти сразу вошел в пору зрелости и расцвета. Так смотрел на дело своих рук Петр Великий, в этом настроении сочинял Вступление к «Медному всаднику» Александр Пушкин, так думали и писали поэты, мыслители и государственные деятели на протяжении всего «петербургского периода».

С точки зрения фактов, это мнение можно оспорить. Пространства приневского края уже в седой древности были заселены народами прибалтийско-финского корня. Им, в лице

чуди и веси, на равной ноге со славянскими племенами кривичей и словен, довелось принять непосредственное участие в деле «призвания варягов», составившего отправную точку в становлении русской государственности. Им же, в составе отряда ижорцев, пришедших на поле Невской битвы под предводительством своего старейшины, прозорливого Пелгусия, довелось оказать своевременную помощь войскам князя Александра, утвердив права Новгорода на земли при устьи Невы. На их долю выпало принять деятельное участие в основании прочного «ожерелья крепостей», обладание которыми позволило русским удерживать за собой приневские земли на протяжении многих веков, вплоть до заключения Столбовского мира 1617 года: мы говорим в первую очередь о карельской Кореле, ижорском Орешке, водском Копорье. Помня о постоянном участии прибалтийско-финских народов в мирном строительстве, равно как и в постоянно случавшихся в наших краях вооруженных конфликтах, не следует забывать и того, что действие ключевых рун общего для них, священного эпоса «Калевалы», было приурочено к приневским землям.

Шведские короли всегда с чрезвычайным вниманием следили за положением в устье Невы и по крайней мере дважды пытались основать здесь настоящую, регулярную крепость европейского типа. Первой стала Ландскрона, основанная на лесистом мысу, образованном основным течением рек Невы и Охты, в 1300 году, под рукой славного маршала Торгиль-

са Кнутссона, заложившего несколькими годами ранее на северо-западе Карельского перешейка крепость Выборг. Перевод имени Ландскрона – «Венец края» – стал сразу же известен новгородцам, равно как стоявшая за ним политическая программа, что и привело на следующий год ко взятию и разорению новооснованной крепости. Помня о давних событиях, шведы вернулись на то же место через три с небольшим века, в эпоху своего великодержавия-«стурмакта» – затем, чтобы поставить здесь крепость Ниеншанц с расположившимся под защитой ее укреплений городом Ниен. Крепости с городом, получившим у русских краткое имя «Канцы», довелось играть роль одного их военных, хозяйственных и культурных центров шведской Ингерманландии на протяжении всего времени ее существования, быть взятыми «на аккорд» войсками Петра I – и, таким образом, непосредственно предшествовать во времени и пространстве городу Шлотбург, который, в свою очередь, уступил свое место самому Санкт-Петербургу.

Приняв православие из Византии, русские испокон веков стремились к тому, чтобы встать наравне с греками в благочестии и ревности к вере. В их среде рано сложилось предание о хождении первоверховного апостола Андрея – родного брата самого святого Петра – по маршруту позднейшего «пути из варяг в греки», и о благословении, которым он осенил наши земли. В ближайшем к нам крупнейшем центре древнерусских земель, Новгороде Великом, был возведен храм

святой Софии – Премудрости Божией, обозначившей вместе с Софиями киевской и, разумеется, цареградской, фокальные точки на древнем военно-торговом пути. В наших краях, в преддверии Невской битвы, сделал свой стратегический выбор святой благоверный князь Александр Невский, пойдя ради веры на разрыв с Западом, получивший глубокое осмысление в тогдашней житийной литературе.

Все это так, примеры легко умножить. Однако же с точки зрения культуры Санкт-Петербург почти сразу стал настолько самостоятельным и крупным явлением, что понять его можно, лишь исходя из внутренней логики его собственного развития. Непрестанно вбирая множество чуждых влияний, город неизменно видоизменял их, подчиняя собственному духу. Вот почему, прослеживая в первой главе этой книги пути, которыми трем историческим предшественникам петербургской культуры довелось вливаться в ее состав, изменяясь иной раз почти до неузнаваемости, мы получаем возможность реконструировать ключевые, архетипические черты «петербургского мифа» как такового.

«Город на Неве» был основан как своего рода огромный портал, при посредстве которого Россия могла бы знакомиться с ценностями и новинками европейской, в основе своей романо-германской цивилизации, а та в свою очередь получала доступ к обширному евразийскому пространству. Соответственно, в следующих двух главах мы переходим к обзору многообразных влияний и контактов, связавших ис-

торическое развитие как нашей «северной столицы», так как и «петербургского периода» отечественной истории в целом, с двумя основными культурными партнерами: «немецким миром» и «французской цивилизацией». Прослеживая многообразные случаи инокультурных влияний и контактов, мы будем стараться и здесь не упускать из виду нашу главную цель – восстановление основных принципов организации внутреннего мира влиятельной городской цивилизации, подчинявшейся в своем становлении, развитии и многообразных изменениях уже своей собственной, отнюдь не заемной логике. Краткость списка ведущих партнеров, а также и исторических предшественников, ограниченная только что перечисленными культурами, обусловливает, в свою очередь, полноту реконструкции как метафизических концептов, так и ключевых оппозиций, базовых для «петербургской цивилизации» в целом.

В числе предметных областей – или же «кодов и текстов», как стали в последнее время говорить под влиянием идей «московско-тартуской семиотической школы» – мы выделяем прежде всего геополитический и историософский, при посредстве которых государство и общество, о которых пойдет речь, позиционировали себя на пространстве историко-географического «большого пространства и времени». «Поменяв экспозицию» – а именно, перейдя к средне – и краткосрочным задачам и целям, которыми в первую очередь занимаются дипломатический и административный ап-

парат любого государства – мы приходим к перипетиям «реальной политики» с ее войнами и революциями, недолговечными договорами и вековечными предубеждениями. Еще более сузив наш кругозор, мы обращаемся далее к тому, какое отражение события эпохи нашли в исторических судьбах и занятиях петербургских немцев и французов – одним словом, к этнокультурной и этнопсихологической проблематике.

Культура послепетровской России была, как мы знаем, последовательно логоцентрична. Соответственно, нам предстоит обращаться далее к истории философского умозрения, а также литературной традиции, одной из важнейших задач которой стало раскрытие «темы Петербурга» во всей ее сложности и полноте. Как следствие, в рамках классической русской литературы сложился своеобразный «петербургский текст», одно вычленение которого стало событием в новейшем отечественном литературоведении. Переходя к области изящных искусств, мы можем эпизодически обращаться вслед за тем к музыке и театру, но систематически – к облику города, который во все времена оказывал самое непосредственное и глубокое воздействие на психологию своих обитателей, то есть, в первую очередь, к его архитектуре. При необходимости, нам придется дополнять это рассмотрение, обращаясь к закономерностям организации градостроительной структуры, которая составляет смежный, но более высокий уровень «города как системы» – либо опускаться на

уровень ниже, переходя к так называемому «монументальному тексту».

Таков общий план, которого мы предполагаем достаточно строго придерживаться на протяжении всего дальнейшего изложения глав второй-третьей, в рамках каждого из разделов, соответствующих одному из веков исторического бытия «города на Неве» (в первой главе этот план реализован менее строго, «пунктирно», в силу особенностей субстратного материала). Что же касается предметных областей, очерченных выше, то они определяют то, что на строгом научном языке следовало бы назвать «семиотикой Петербурга». Едва сформулировав это определение, нам приходится сразу его ограничить. В каждой предметной области мы избираем лишь ту часть, в структуре которой прослеживается непосредственная связь с так называемым «мифом Петербурга». В свою очередь, под этим мифом мы понимаем психологическую доминанту, сводящуюся к тому, что глубокое приобщение к определенным аспектам петербургской культуры позволяет установить контакт с «метафизической областью».

Под метафизикой в традиционной университетской философии понималось учение о Боге (теология), бытии (онтология), а также душе и конечных ценностях человеческого существования – таких, как смысл жизни или свобода воли (пневматология). К началу XX века, традиция метафизической мысли почти угасла. Возвращаясь на новом уровне к некоторым из ее базовых интуиций, мы предлагаем выделять

в психике человека и общества «метафизическую область», в задачу которой входит «порождение смыслов» – в особенности, ценностей и архетипов, играющих ключевую роль в жизни людей. Приняв эту инновацию, становится возможным определить предмет нашего интереса как «метафизическую семиотику Петербурга» – или, для краткости, его метафизику.

Придя к этому общему, родовому определению, нужно признать, что оно влечет за собой необходимость выработки ряда более частных, видовых. К примеру, неясное представление о метафизике города коренится в коллективном подсознании его жителей, находя себе выражение в преданиях и слухах. Историки Петербурга лишь недавно обратились к их систематическому рассмотрению и сразу же стали приходить к весьма конструктивным выводам. Значительно более четкое выражение метафизика города находит себе в психологических установках и жизненных стилях тех социальных групп и слоев, которые определяют жизнь города и страны – или, по меньшей мере, играют в ней видную роль. Как водится, члены этих групп в массе своей могут иметь не вполне четкое представление о собственных психологических доминантах, что не мешает им воплощать таковые в спонтанных или намеренных действиях.

Рано или поздно в городе появляются люди, которые черпают вдохновение в его облике и судьбе, осмысливают свои озарения и дают им выражение в формах, присущих куль-

туре своего времени. Накладывая свою собственную, сверхличную логику на течение творческой мысли этих людей, «душа города» наконец обретает свой голос. «Отражение Петербурга в душах наших художников слова не случайно, здесь нет творческого произвола ярко выраженных индивидуальностей. За всеми этими впечатлениями чувствуется определенная последовательность, можно сказать, закономерность», – писал в 1922 году гений петербургского краеведения Н.П.Анциферов, и мысли его сохранили свою актуальность по сей день. Кажется, что участники научного и общественного движения «Дух места», недавно развернувшегося в США, просто продолжили его любимые мысли, заявив: «Есть люди, которые становятся „голосом“ определенного места – нередко сами не зная, почему. Однажды выступив в этой роли, они часто испытывают потом настоятельную потребность выражать свои чувства средствами искусства или же действиями».

Начав со строго научного определения метафизики Петербурга, мы поведем далее наш рассказ в довольно свободной форме – в надежде, что для внимательного читателя, тем более для ученого, ближе знакомого с материалом, не составит большого труда восстановить внутреннюю логику нашего повествования, руководствуясь как его общим духом, так и расставленными по тексту краткими пояснительными замечаниями. При желании получить более подробную историческую справку или отсылку к конкретным научным ис-

точникам, достаточно будет обратиться к нашей трехтомной монографии «Метафизика Петербурга», выпущенной в 2003–2005 годах издательством «Алетейя», где соответствующий научный аппарат наличествует в необходимой полноте. Более красочный видеоряд представлен в 16-серийном фильме «Метафизика Петербурга», снятом на Международной телерадиокомпании «МИР» в 2003 году, и с тех пор с неизменным успехом идущем на телеэкранах России и стран СНГ.

Книга посвящена матери автора – блокаднице, прима-балерине Мариинского театра Нонне Ястребовой.

Глава I. Северная столица

Финская почва

Город у финской границы

В годы Северной войны театр военных действий распространялся и на Финляндию. Видя ее стратегическое значение для Петербурга, Петр I не считал оккупацию страны первоочередной задачей. «Хотя она (Финляндия – Д.С.) нам не нужна вовсе, удерживать ради причин главнейших: первое, было бы что при мире уступить», – писал царь в известном послании к своему генерал-адмиралу Ф.М.Апраксину, – «другое, ежели Бог допустит летом до Абова, то шведская шея легче гнуться станет». Письмо было писано и принято к сведению в 1713 году. Как выяснилось вскоре, Бог до Абова допустил, и «шведская шея» действительно стала легче гнуться. Абовом у нас называли главный город Финляндии Або, в шведском произношенни Обу (Åbo), теперь более известный под финским именем Турку. Находясь на юго-западе страны, он был ближе других к Стокгольму и в известном смысле слова «представлял» его – так же, как в следующем веке Гельсингфорс стал «финляндским дублером»

Петербурга. Согласно Ништадтскому миру 1721 года, занятая территория Финляндии была возвращена шведам. По сути, им они получили грозное предупреждение, но особого действия оно не возымело: страну скорее эксплуатировали, чем развивали. В ходе войны 1741–1743 годов российские войска загнали шведскую армию на территорию нынешнего Хельсинки, некоторых поубивали, а большинство взяли в плен. Императрица Елизавета Петровна издала манифест, где обещала финляндцам вольности. То был хорошо рассчитанный шаг: все больше взглядов стало обращаться к Петербургу. По Абоскому мирному договору 1743 года, к России отошла еще полоса территории севернее Выборга.

После этой войны шведы принялись за строительство крепости Свеаборг на островах, прикрывающих Гельсингфорс со стороны залива. Работы были поставлены на широкую ногу: в непосредственной близости от границы России год за годом рос «северный Гибралтар», как тогда любили называть крепость (окрестные финны превратили Свеаборг в «Виапори»). Тем не менее собственно Гельсингфорс, то есть город, где под защитой крепостных пушек должны были развиваться промышленность и торговля, рос очень медленно. В 1760 году он состоял всего из 4 кварталов деревянной застройки, население которых не превышало двух тысяч человек. Создавалось впечатление, что шведы не усвоили урока утраченного навсегда Ниеншанца. В следующей большой войне 1808–1809 годов они окончательно потеряли Финлян-

дию. Война велась в годы Тильзитского мира, и соответствовала заложенной в нем концепции европейского баланса сил. Светская молва свела дело к анекдоту. Во время одного из обедов в Тильзите разговор зашел о том, что во время последней русско-шведской войны (1788–1790) одно из сражений велось так близко к Петербургу, что канонада была в нем отчетливо слышна, и многие дамы перетрусили. Рассказ взволновал Наполеона. Он озабоченно сказал, что война войною, но пугать петербургских дам – это совсем не дело. В крайнем случае, надобно занять Финляндию и прекратить это. Александр I задумчиво посмотрел на него своими прекрасными глазами – и согласился. Участь Финляндии была решена.

Современная шведская историография рассматривает потерю этой страны как крупнейшую катастрофу своей истории. Согласно авторитетному мнению современных составителей капитальной «Истории шведской внешней политики» С.Карлссона и Т.Хёйера, «утрата Финляндии была самым важным событием за всю историю шведского государства». Точно так же потеря Финляндии, признанная Советом народных комиссаров через столетие после того, в конце 1917 года, в свою очередь ознаменовала крушение другой великой державы – петербургской империи. Заметим, что шведские политики начала XIX века довольно легко перенесли утрату Финляндии. Для них последним словом в политической науке была концепция «естественных границ»,

восходившая к Монтескье. В соответствии с нею, нужно было не удерживать Финляндию, а обратить все внимание на Норвегию, создав с нею неприступное государство в границах, очерченных Скандинавским полуостровом. Эта точка зрения пользовалась особым вниманием при дворе бывшего наполеоновского маршала Ж.-Б.Бернадота, вступившего на шведский трон под именем Карла Юхана в 1810 году. Сам он относился к идее возвращения Финляндии едва ли не с отвращением. «Я знаю тернии этого положения, – говорил он, – Я избран небольшой партией, и не ради моих прекрасных глаз, а как вождь, с условием, которое обходят молчанием – отвоевать Финляндию. Но начинать из-за этого войну было бы безумием, к которому я не приложу рук». Как известно, король повел дело прочь от Финляндии – а именно, к шведско-норвежской унии. Лишь к середине XIX века, в Швеции была выработана и приобрела влиятельность концепция «скандинавизма». Она подразумевала федерацию скандинавских стран, включавшую и Финляндию на правах автономии.

Еще один краеугольный для Карлсона и Хёйера тезис критики не выдерживает. Как пишут они, в результате катастрофы 1809 года «значительная часть подданных прежнего шведского государства вошла в состав общности, судьбы которой формировались на широтах, чей духовный климат был сибирским». Финляндцы «сибирского духа» как раз и не чуяли, в массе своей сердечно приветствуя приход

царской армии. Сразу же после присоединения к России, было образовано конституционно-автономное Великое княжество Финляндское. Цари милостиво приняли новых подданых, даровав им широкое самоуправление в виде сейма (позднее – парламента), собственную валюту, армию, университет. Многое делалось, чтобы произвести впечатление на Европу, но немало – как прообраз реформ в российских губерниях. В предписании генерал-губернатору только что присоединенного края, Александр I подчеркивал, что финляндский народ следует считать «не порабощенным России, но привязанным к ней собственными пользами». Пользы были весьма ощутимы, финляндские предприниматели сумели их оценить в полной мере. Уже к середине XIX века они вывели свою страну на темпы развития, оставлявшие далеко позади ведущие промышленные районы глубинной России. За первые сорок лет после присоединения, население Гельсингфорса увеличилось в 5 раз, за следующие сорок – еще втрое. На севере от Петербурга сложилась процветающая провинция, заинтересованная и в его благосостоянии.

Под сенью двуглавого орла благоденствовали и набирали силу обе национальные общины Финляндии. Спокойно выпустил библию финских националистов – «Калевалу» – и читал лекции по финскому языку в Гельсингфорсском университете Элиас Лённрот. Коллега Лённрота по университету, Я.Грот, занимавший кафедру русского языка, с улыбкой вспоминал, как на одной вечеринке старый добрый Элиас

с его багровым загаром и большими мужицкими ладонями взял в руки кантеле и стал распевать украинские песни на финские мотивы. М.Кастрен прославился своими экспедициями по русскому северу и Сибири, где он собрал уникальные материалы по архаичным языкам и обычаям тамошних финно-угров. Замечательный ученый имел право на жалованье адъюнкта петербургской Академии наук, однако оговорил себе право получать ее в Гельсингфорсе, поскольку там было удобнее жить, обрабатывая собранные коллекции. Свободно развивал свои мысли о придании финскому языку статуса официального публицист и критик И.В.Снеллман, а с ним и прочие националисты. Народ выражал свои чувства на собственный лад: вплоть до 1916 года детям охотно давались имена Николаи и Алексантери, у финнов ассоциировавшиеся исключительно с русскими царями. Община финляндских шведов также чувствовала себя уверенно: отпрыски 250 «лучших семейств» доминировали в управлении краем. Между тем, численность этих кланов не достигала и полутора процентов населения Великого княжества. Среди выходцев из этой среды, сделавших карьеру на царской службе за пределами Финляндии, было немало губернаторов, генералов и адмиралов. Неудивительно, что в среде этих людей бытовала поговорка «Россия принадлежит нам!». Положим, Россия им не принадлежала – но в Петербурге они чувствовали себя как дома.

Политика неуклюжей русификации, принятая царизмом к

концу XIX века, произвела в Финляндии довольно неприятное впечатление. Оно было усугублено манифестом Николая II (1899) и законом III Государственной думы, которые ограничили права финляндского сейма. В северном краю стала популярной литография, изображавшая Финляндию в облике девицы, которую преследовал злобный двуглавый орел. Девица ежилась, косилась на вредное животное и заслонялась от его когтей книгой с надписью «LEX» – закон. Молодой Мандельштам видел репродукцию этой картины Ээту Исто, обрамленную траурной рамкой, едва ли не в каждом финском доме. Оригинал ее до сих пор украшает площадку второго этажа финского Национального музея в Хельсинки, попадается она изредка и в петербургских букинистических магазинах. Впрочем, как бы ни негодовала юная Финляндия, ей все же было что защищать: закон-lex сохранял свою значимость. Поэтому и народ надеялся, что все образуется, и сохранял спокойствие. Когда в 1899 году националистически настроенные финские студенты пошли в народ, они встретили редкостное безразличие. Крестьяне слушали их, а потом сообщали, что ежели речь идет о недоимках, то таковые давно уплачены, а про все прочее они знать не знают. Погорячившись некоторое время, студенты осознавали, что тут ничего не добьешься, садились в бричку и уезжали в полном расстройстве. Поселяне с улыбками смотрели им вслед, качали головами, бормотали что-нибудь вроде «Веселые господа!», и возвращались к хозяйственным заботам. Лучшие

представители национальной буржуазии выставляли агитаторов за дверь еще быстрее. Сама мысль получить независимость, потеряв ради этого бездонный российский рынок, должна была представляться им безумной.

Такой курс нашел себе отражение и в символике финляндского государства. Дело в том, что в начале XX века, у финляндцев было два варианта национального флага. Первый, привычный нам белый флаг с голубым крестом («blåvit korsflagga»), восходил по прямой линии к старинному русскому «андреевскому стягу» и символизировал верность Великому князю Финляндии, которым был русский монарх. До революции, этот флаг употреблялся у финнов, лояльных царю, достаточно широко – к примеру, его вывешивали на своих судах члены многочисленных яхт-клубов, рассеянных по всей стране. На втором флаге был изображен герб Финляндии – золотой лев на красном поле. Принадлежавшее древней традиции, это изображение не вызывало противодействия у царских властей. К примеру, его можно видеть в числе гербов, представленных на фронтоне дворца Великого князя Владимира Александровича, стоящего на Дворцовой набережной (теперешний Дом Ученых). Несмотря на это, «красно-золотой стяг» с течением времен стал использоваться радикальными сторонниками независимости Финляндии. Кроме того, он приобрел значение символа финляндских шведов – и, следовательно, желанного им возвращения к прежнему шведско-финляндскому единому госу-

дарству. Сразу же после окончания Гражданской войны, 12 мая 1918 года, на бастионах Свеаборга, был поднят именно этот, «красно-золотой стяг», носивший еще наименование «львиного» («lejonflaggan»). Лишь четырьмя днями позднее, в преддверии Парада победы, Маннергейм, всегда принадлежавший к партии лоялистов, без церемоний распорядился сорвать его, заменив на бело-голубой. Под этим флагом и суждено было развиваться независимой Финляндии. Впрочем, сторонники красно-золотых цветов не отказались вполне ни от своих убеждений, ни символики. Посетив недавно музей известнейшего финляндского художника прошлого века Аксели Галлен-Каллела, расположенный на северо-западной окраине Хельсинки, автор этих строк еще издалека заметил белый флаг с желтым крестом в красном окаймлении, реявший на высоком флагштоке у входа в музей. Как сообщили мне сотрудники музея, они подымают его в память о славном художнике, разработавшем его во время Гражданской войны в качестве варианта общеизвестного «красно-золотого стяга».

Что касалось русских царей, то они чувствовали себя в Финляндии в безопасности, и при первой возможности отправлялись туда отдохнуть. По общему мнению членов семьи Николая II, там прошли их счастливейшие дни. Фрейлине императрицы, Анне Вырубовой, запомнилось лицо Александры Федоровны, смотревшей на финские берега при возвращении морем из последней такой поездки тревожным ле-

том 1914 года. «Государыня буквально заливалась слезами. Тогда она произнесла вещие слова, которые сохранятся в моей памяти так долго, как я проживу: „Я знаю, что наши чудесные дни на Финляндских островах отходят в прошлое и мы больше никогда не вернемся сюда все вместе на нашей яхте“». Чувство почти мистической связи с Финляндией сквозило в словах и других членов августейшей семьи…

Картина, намеченная выше, похожа на идиллию. Жизнь была, разумеется, более прозаична. Но дело обстояло благополучно еще долго, вплоть до лета 1917 года. Как подчеркивает современный финский историк Матти Клинге, специально изучавший происхождение русофобии в Финляндии, не то что до революции, но вплоть до начала 20-х годов ее практически не существовало. С этим «наследием царизма» скоро было покончено. События начались по-фински спокойно. При первой возможности, в декабре 1917 года финляндцы провозгласили самостоятельность. Эта дата празднуется у них и по сию пору как День независимости. Еще до начала нового года представители нового правительства посетили Петроград и получили подтверждение своей декларации независимости в Совете Народных Комиссаров. Немедленно вслед за этим в Финляндии началась гражданская война. Обе стороны вели ее с невиданным до сих пор ожесточением, оставившим глубокий след в народной памяти. Историки даже создали для него особый термин – «финская травма 18-го года». Сторонники буржуазной республики сумели

собрать силы и победить до наступления лета. 16 мая 1918 года они устроили торжественное прохождение своих войск по Хельсинки. Парад прошел с подъемом, но чувство тревоги осталось и нарастало. Большевики постепенно брали под свой контроль огромную страну к востоку и югу от границ Финляндии. В 1920 году был образован ее, так сказать, антипод – Карельская трудовая коммуна, преобразованная через три года в Карельскую АССР.

Центром притяжения для «красных финнов» постепенно становился и Петроград. К концу двадцатых годов финская экономика вместе со всем миром капитала вошла в полосу глубокого кризиса. Началось снижение уровня жизни и безработица. Деятели финского рабочего движения стали поднимать головы и посматривать в сторону великого соседа, строившего общество «без кризисов и угнетения человека человеком». Правящие круги Финляндии не могли исключить повторения гражданской войны, но на этот раз при более эффективной поддержке с востока. Советские государственные и военные деятели тоже смотрели в сторону Финляндии с беспокойством. Сама по себе финская армия не представляла особой опасности. Однако она могла предоставить свои базы вооруженным силам более мощных стран. Возможность такого сценария была опробована еще в 1918 году, когда германский экспедиционный корпус Р. фон дер Гольца высадился в Финляндии и действовал в сотрудничестве с белофинскими войсками. Чтобы не быть захвачен-

ным, Балтийскому флоту пришлось тогда совершить бросок из Гельсингфорса в Кронштадт, исключительно трудный из-за льдов, покрывавших значительную часть Финского залива (это было в конце марта – начале апреля). В Петрограде запомнили тот поход – как, впрочем, и представлявшуюся тогда вполне выполнимой угрозу захвата невской столицы силами белофиннов. Товарищ Троцкий тогда, явно рассчитывая разбередить подсознательные страхи финляндцев, поместил в «Правде» статью, где заявил, что мы в таком случае пустим на Гельсингфорс страшную «башкирскую конницу», специально для этой цели переведенную недавно на «петроградский фронт». Памятны были и попытки финской интервенции на Карельском перешейке (1919), равно как в восточной Карелии зимой 1921–1922 годов. Таким образом, в непосредственной близости от Петрограда, по середине Карельского перешейка прошла болезненная, саднящая граница, разделившая россиян и финляндцев.

Ленинград стал как бы поворачиваться к новой границе спиной. Не случайно проведенное ему в пару переименование Царицына в Сталинград, проведенное в 1925 году. Строилось новое «закрытое царство», и ось «Ленинград-Москва-Сталинград» составила его становой хребет. Финляндцы не были склонны к переименованию городов – разве что в соответствии с официальным курсом на двуязычие, каждому шведскому имени города было подыскано финское. К примеру, Гельсингфорс стал Хельсинки, а Таммерфорс – Там-

пере. Однако им тоже нужно было строить новый патриотизм. Ясно было, что в складывающихся обстоятельствах в одиночку не выстоять. Приходилось идти по давно проторенному маленькими нациями пути совмещения лояльности местным властям с чувством принадлежности к более обширной общности. Германская геополитика была в это время на подъеме. Она объясняла войны не волею государей, но борьбой разных рас за жизненное пространство. Основное содержание современной эпохи сводилось тут к противостоянию европейской, в первую очередь германской культуры – и «желтой опасности», кравшейся с Востока (сюда же включался и большевизм). Немного поколебавшись, правящие круги Финляндии склонились к этой идеологии. Колебания были связаны с неприятными воспоминаниями о гражданской войне. В красногвардейцы шли преимущественно низы общества, а чем ниже стоял человек на сословной лестнице старой Финляндии – тем больше была вероятность, что он говорил по-фински. На этом основании представители «белой кости», воспитанные в старом добром шведско-финляндском духе, природным финнам не доверяли, и даже говаривали иногда о «финско-азиатской угрозе». Каковы бы ни были трения между общинами, но жить приходилось вместе, а природные финны составляли в новом государстве абсолютное большинство.

Пришлось теоретикам новой финляндской идентичности переоценить ситуацию и «сменить пластинку». Согласно но-

вому, усовершенствованному варианту их теории, русские всегда были склонны к азиатскому деспотизму и тянули свои лапы к маленькой чистой Финляндии. Бедняжка же отстранялась от них с отвращением, устремляя свой взгляд на Запад с надеждой на помощь и избавление. Пущен был в оборот и термин «ryssänviha». «Viha» по-фински значит ненависть, «ryssä» – презрительная кличка русских (в литературном языке русского называют «venäläinen»). Все вместе означало подсознательное недоверие к восточным соседям, якобы присущее всякому нормальному финну едва ли не с пеленок. Начало распространения этих взглядов историки датируют примерно 1922 годом. В этом году был выпущен первый памфлет нового содержания с характерным названием «Ryssästä saa puhua vain hammasta purren», то есть «О русских можно говорить только скрипя зубами». Такого в Финляндии еще не было: случалось, что народ покачивал головами, но зубами скрипеть он все же не торопился. Последовали другие брошюры. Историки пожимали плечами, интеллигенты морщились, но депутаты парламента прислушивались к новым оборотам речи, и мало-помалу стали употреблять их в парламентских дебатах. С течением времени такая пропаганда принесла свои плоды. Сам Карл Густав Маннергейм думал еще по-старому и вряд ли принимал ее всерьез. По мнению историков, заветной его мечтой всегда оставалась отнюдь не независимость Финляндии, но смелый «петербургский проект», в который входило очищение Петро-

града от большевиков силами финляндских полков и возвращение трона законной династии. После того, финляндским баронам во главе с Маннергеймом осталось бы расположиться на верхних ступеньках близ царского трона, затем, чтобы вести впредь счастливую жизнь под скипетром российских императоров, навеки обязанных им своим чудесным спасением. Так думал сам Маннергейм, но люди, строившие линию, названную его именем, доверяли в массе своей тому, что писалось в газетах и говорилось с трибун. Они приучались смотреть на Ленинград с опаской и недоверием.

Близость этой границы послужила основным поводом для советско-финской войны 1939–1940 года, получившей у наших северных соседей наименование «Зимней войны» («Talvisota»). Советские дипломаты предъявили Финляндии пакет предложений, главным из которых было отодвинуть границу на несколько десятков километров к северу по Карельскому перешейку. Взамен финнам были предложены в порядке компенсации немалые территории в других пограничных районах. Нужно признать, что у Сталина в этом отношении был свой резон. При царях финляндская граница изменялась, и не раз. Бывали времена, когда она проходила и южнее от Выборга, и гораздо дальше на северо-запад, по реке Кюмени. Почему же нужно было выбрать из них самую близкую к Ленинграду? Развитие артиллерии позволяло непосредственно обстреливать город с самого южного ее участка. Другое дело, что об этом нужно было думать рань-

ше, когда отпускали Финляндию. Однако тогдашняя ситуация исключала обстоятельные переговоры. За всем этим разумным декорумом у Сталина были и более далекие планы, клонившиеся к советизации Финляндии и ее включению в состав Союза.

Советские предложения были восприняты финнами однозначно. Сама мысль об утрате даже пяди перешейка была непереносима, не говоря о более далеких планах, наличие которых финнами предполагалось. Это касалось в первую очередь потери Выборга – «жемчужины Финляндии». Товарищ Молотов особо остановился в одном из своих выступлений осени 1939 года на отсутствии у советского государства даже тени таких намерений, гневно определив их как «вымысел и ложь». Надо ли говорить, что это еще более укрепило нервных финляндцев в их подозрениях. Оставалось воевать – и пушки вскоре заговорили. Советская армия действовала отнюдь не так неудачно, как принято полагать. В условиях зимних морозов (в дневниках современника, ленинградского драматурга Е.Л.Шварца, сохранилось упоминание о слухах, ходивших по городу в период этой нелегкой войны: «Во время финской кампании зима стояла неестественно суровая, словно ее наслали знаменитые финские колдуны»), с тогдашним несовершенным вооружением, ей удалось за три с небольшим месяца прорвать линию Маннергейма, пройти частично незамерзающие болота и понудить финнов к необходимым уступкам. С точки зрения тогдашнего советского

руководства это была победа; современные историки говорят скорее о поражении. Финны же были крайне подавлены. По их мнению, между Сталиным и Гитлером на их счет было заключено нечто вроде нового Тильзитского соглашения. Это подозрение было недалеко от истины. При всех колебаниях, теперь финны больше всего боялись классово чуждой России. Под действием этого страха они решились на гораздо более тесный, чем раньше, союз с нацистской Германией. Что же касалось последней, то ее стратеги взяли на карандаш все слабости советской армии. События «Зимней войны» значительно укрепили их в мысли, что война с большевиками не будет тяжелой и долгой.

Летом следующего года, Германия напала на Советский Союз. К ней присоединилась и финская армия, действовавшая по преимуществу на Карельском перешейке и в самой Карелии. Нужно сказать, что почти с самого начала финская пропаганда трактовала это участие на свой лад, с рядом оговорок. Сюда относилась в первую очередь концепция отдельной финско-советской войны, ограниченной по замыслу для финляндцев. У финнов она так и называется по сию пору – «Jatkosota», то есть «Война-Продолжение», дополнительная по отношению к войне исходной, Зимней. Черты такого подхода в действительности прослеживаются, что не может затушевать того позорного факта, что во второй мировой войне Финляндия выступила как союзница нацистской Германии. Доля ответственности за блокаду Ленинграда должна

быть возложена и на Финляндию. Лишения защитников города, так же как и их беспримерный героизм общеизвестны. Меньше пишут о планах захватчиков. Точнее говоря, хорошо известно, что в них входило стереть Ленинград с лица земли. Это представление не расходится с истиной. Достаточно сослаться на первый пункт знаменитой германской директивы от 22 сентября 1941 года, которая так и была озаглавлена: «Будущее города Петербурга». «Фюрер принял решение стереть город Петербург с лица земли», – говорилось там, а дальше стояло: «Финляндия также сообщила нам, что она не заинтересована в дальнейшем существовании города рядом с ее новыми границами». Из текста директивы можно заключить, что разрушение Ленинграда было нужно скорее немцам, а финны на это просто согласились. Против такого утверждения есть свои доводы. Так, специально изучавший архивные источники Х.М.Вайну пришел к выводу, что инициатива уничтожения города исходила все-таки из кругов, близких к финскому президенту Р.Рюти, а немцы присоединились к ней несколько позже.

Согласно достигнутой договоренности, Финляндия получала возможность присоединить обширные территории Карельского перешейка, Восточной Карелии, а к ним – возможно и Кольского полуострова. Есть основания полагать, что радикальные националисты вынашивали проекты, шедшие еще дальше, вроде установления протектората над северными российскими землями до Урала, исторически за-

селенными народами финно-угорского происхождения. На юге граница между намечавшейся таким образом «Великой Финляндией» (Suursuomi) и германским рейхом должна была проходить по реке Неве. Надо сказать, что немцы в общем не возражали против того, чтобы местные финны остались на своих землях. Но, в соответствии с принципиальным курсом на «чистоту расы» более желательным представлялось, чтобы они без спешки собрали пожитки, и перебрались на север от основного течения Невы, к своим. Что же касалось Ленинграда, то он приходился точно на границу между двумя будущими «державами-победительницами». Географическое положение звучало как приговор: «Ленинград должен погибнуть», – энергично заявил Гитлер на одном из обедов весной 1942 года, – «В дальнейшем Нева станет границей между финнами и нами. Ленинградские порты и верфи пусть дальше приходят в упадок. Только одно государство может хозяйничать на Балтийском море – внутреннем море Германии». Эти слова отразили и финляндскую точку зрения того времени. Так, в архиве Ю.Паасикиви сохранился и был позднее опубликован текст торжественной речи, которую он предполагал в качестве государственного советника произнести по финляндскому радио в день взятия Ленинграда, первоначально намеченного, как мы помним, на 1941 год. По объективным причинам, речь эта никогда не была произнесена, но ее направление более чем интересно. Касаясь исторической миссии Петербурга, финский по-

литик выделил якобы присущий городу со дня его основания «захватнический дух». С этим можно спорить, однако пока еще это рациональные аргументы. Но вот Паасикиви как будто сбивается, переходя на язык метафизики: «Для нас, финнов, Петербург всегда был воистину городом, накликавшим несчастья». Таким языком скорее нашептывает подсознание, чем уверяет расчет. Что же касалось истории, то она прибавила сюда щепоть иронии. Как помнит читатель, делом жизни Паасикиви стало налаживание добрососедских отношений послевоенной Финляндии с Советским Союзом, откуда пошло и общеизвестное выражение – «мирная линия Паасикиви-Кекконена»…

Внятен был «дух Петербурга» и Карлу Густаву Маннергейму. Почтение, которым он пользовался в среде финских политиков и офицеров, было бесспорно. Тем любопытнее анекдот, распространившийся в их среде в начале войны. Речь шла об одном из заседаний 1941 года, на котором германские эмиссары развивали проект разрушения Ленинграда. Маннергейм рассеянно смотрел в окно, барабанил пальцами по столу, а затем в наступившей паузе пробормотал что-то вроде: «Разрушить, конечно, можно… Только ведь они его снова построят». Повидимому, анекдот передавал фрагмент подлинных дебатов, поскольку он отражен в ряде надежных источников. В нем нашла отражение интуиция проницательного политика о том, что Петербург – это не скопление доков, верфей и бог знает чего еще, вплоть до

гранитной колонны на Дворцовой площади. Петербург есть в первую голову миф, идея, которую можно ненавидеть, но нельзя отменить. Может быть, Маннергейму вспомнились тогда безоблачные годы, которые он провел в Петербурге до революции. Квартира его была на углу Конюшенной площади и Большой Конюшенной улицы, сам барон был блестящим офицером и подлинным петербуржцем. Возможно, припомнился ему и последний приезд в Петроград, в декабре 1917 года. Дело уже шло к независимости Финляндии, а он все бродил по городу, погружавшемуся в хаос, ища, кому бы вернуть шпагу, то есть подать прошение об отставке. Даже в той ситуации Маннергейму было важно, чтобы его никто не смог упрекнуть в дезертирстве из-под знамен державы, которой он присягал. Как жаль, что у тогдашней России не было лидера с его нравственными и интеллектуальными качествами!

Помимо всяческой метафизики были, конечно, и рациональные аргументы. Маннергейм мог напомнить присутствовавшим о дебатах 1917–1919 годов, когда один из «отцов финляндской независимости» П.Свинхувуд настаивал на том, чтобы придать Петербургу статус вольного города на манер Данцига. В ответ его более решительно настроенные коллеги говорили, что и вольного города не надо, а следует срыть все, и делу конец. Представители германского командования слушали тогда эти финляндские фантазии с немалым удивлением, после чего качали головами и говорили,

что, очевидно, быстрое обретение суверенитета бьет в голову наподобие шампанского вдовы Клико. К числу более затаенных мыслей Маннергейма принадлежала та, что Германия могла проиграть войну. Тогда, по его расчету, борьба за передел мира вскоре продолжилась бы столкновением атлантической цивилизации с большевистской Россией. В поражении последней Маннергейм не сомневался. Но в этом случае выходило, что после войны на ее развалинах будет воссоздано буржуазное государство, а может быть и монархия. Столицу тогда будет естественно перенести обратно в Петербург. Но если он к тому времени будет разрушен – русские этого никогда не простят. Город будет отстроен заново, над Невой будет поставлен второй Медный всадник, а финнам придется поколениями выплачивать контрибуцию и нести славу новых геростратов и вандалов. «Нет, петербургский дух так просто не вытравишь», – должен был думать Маннергейм, и он, как всегда, был вполне прав.

Встретив упорное сопротивление, немецко-фашистские войска взяли Ленинград в кольцо. Финские войска заняли на Карельском перешейке позиции, примерно следовавшие довоенной советско-финляндской границе (с «запасом» от 5 до 15 километров) и непосредственного участия в блокаде не приняли. Дело затягивалось: о том периоде войны напоминают остатки укреплений, сооруженных агрессорами на подступах к городу. Мы имеем в виду созданный немцами «северный вал», а также остатки «карельского вала», воз-

веденного финляндскими фортификаторами в 1940-х годах поперек Карельского полуострова параллельно так называемой «линии Маннергейма» (1924–1939), но гораздо ближе к Ленинграду (по реке Сестре и дальше на северо-восток, по направлению к теперешнему Сосново). Обе линии укреплений были взломаны Красной армией в ходе наступательных операций 1944 года, итогом которых было возвращение оккупированных территорий, и перенос войны на земли противника.

В послевоенной советской историографии последовательность этих операций была осмыслена в виде «десяти ударов Советской Армии». Снятие блокады мыслилось как «первый удар», давший толчок лавине, двинувшейся на огромном пространстве от Балтики до Черного моря и вынесшей советские войска на границу срединной Европы. При всех сдвигах, произошедших после революции, тут можно и должно видеть преемственность по отношению к «петербургскому делу», первейшую задачу которого его основатели видели в прорыве в Европу. «Четвертый удар» был нанесен советскими войсками на Карельском перешейке и в Восточной Карелии, «десятый» – в заполярной Финляндии, на подступах к Мурманску (там немцы сосредоточили довольно значительную группировку войск). В сентябре 1944 года было подписано сепаратное советско-финское соглашение о перемирии. Вслед за этим Финляндия даже объявила войну нацистской Германии. Мирное будущее нашей страны и существование

города на Неве были обеспечены.

В результате войны, Финляндия передала Советскому Союзу около десятой части своей территории, включая и земли Карельского перешейка, и выплатила в порядке репарации сумму порядка 500 миллионов теперешних долларов. Дело, однако, было не только в репарациях: все понимали, что в мире складывается новый баланс сил, и место Финляндии в нем предстояло определить. Реально речь шла о том, придется ли Финляндии принять статус народной демократии и войти в сферу влияния СССР, или нет. Решение этого вопроса особенно остро стояло в первые два-три года после войны. У финнов они так и называются до сих пор – «Годы опасности». В 1948 году, им удалось заключить весьма мягкий по отношению к финскому суверенитету договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Советским Союзом. Договор дважды продлевался, каждый раз на 20 лет (досрочно в 1955 году, потом в 1970-м). По сути дела, он оформил и закрепил ту гибкую концепцию отношений с внешним миром, которая получила у обществоведов и политологов название «финляндизации». Суть ее состояла в том, что, сохраняя принадлежность к западному миру, Финляндия вошла с Советским Союзом в особые отношения, исключавшие военную конфронтацию и предполагавшие оживленные взаимовыгодные связи. Последовательное проведение в жизнь «финляндизации» способствовало восстановлению в новых, советских условиях некоторых черт старого мифа о

Петербурге как «окне в Европу» – по крайней мере, смутных воспоминаний о временах, когда граница с «настоящей западноевропейской страной» проходила в непосредственной близости от города, по так называемой «Ржавой канаве», между теперешним Сестрорецком и Дюнами.

«Пригородные финны»

Когда настала пора официальной передачи Ингерманландии шведской короне, в соответствии с условиями Столбовского мира 1617 года, царское правительство приняло на себя обязательство не выводить крестьянское население из края, и без того уж изрядно опустевшего за годы военного лихолетья. Тем не менее, большинство русских людей, а ними и значительная часть карел, почли за благо собрать свой скарб и перебраться на юг от новой границы со Швецией. Обнаружив на новых землях, в особенности на Карельском перешейке, пустовавшие поселки, шведы приняли меры к их заселению, в основном за счет природных финнов, переселявшихся из отдаленных районов Финляндии. Так обновилось население Токсова, Кавголова и прочих деревень и поселков, названия которых мелькают перед взором пассажира Октябрьской железной дороги до сего дня. Что касалось самого Ниена, то финский дух в этом небольшом шведском городе Ореховецкого лена (то есть провинции) был довольно силен. На улицах слышалась финская речь, был в го-

роде и финский лютеранский приход (православная служба «на финском языке», то есть скорее всего на водском или ижорском, не одобрялась, а то и преследовалась шведскими чиновниками от религии). Бытовали религиозные книги на финском языке, в том числе напечатанные кириллицей. Однако самый существенный вклад в метафизику будущего Петербурга внесло именно масштабное переселение XVII века. В результате него, финны сильно приблизились к городу, в то время как карельское присутствие сошло на нет. Как следствие, финское население приневских земель, возводившее свою родословную к переселенцам времен Столбовского мира, и составило основную часть тех «пригородных финнов», присутствие которых на рынках и улицах Петербурга, в особенности же в его окрестностях, впоследствии составляло характерную примету этнической ситуации нашего города на протяжении всей его дальнейшей истории.

Среди новых жителей приневского края сразу выделились переселенцы из близлежащих районов, преимущественно с северной части Карельского перешейка. Они перебрались сюда раньше прочих финнов и долго держались от них в стороне, подчеркивая свою домовитость приверженность старым традициям и обрядам. Жителям позднейшего Петербурга они были известны под именем «эвремейсет» (по-фински «äyrämöiset», от Эуряпяя – названия одного из приходов на их старом месте проживания). Эвремейсет предпочитали селиться подальше от большого города – в северной части

Карельского перешейка, по побережью Финского залива за Стрельной, а также на южной окраине губернии, поблизости от Вырицы и Тосно. Другая группа переселенцев пришла позже, со стороны расположенной к западу от Карелии земли Саво, и приняла по ней имя «савакот» (savakot). Эти финны считались более оборотистыми и быстрыми на подъем. Соответственно, савакот расположились ближе к Петербургу, прежде всего в южной части Карельского перешейка и по обоим берегам реки Невы. Жили они и в других местах – к примеру, на территории так называемых «потемкинских поместий» южной части Карельского перейка, вроде Токсова. Тут они выделялись особой задиристостью, с форсом именуя себя «настоящие государственные», и конечно, не допуская к своим девушкам женихов-эвремейсет. В старину различия между этими группами были очень существенны. Так, эвремейсет считали себя более твердыми в вере, а савакот обвиняли в недопустимой переимчивости. Как ни странно, это мнение было недалеко от истины: когда в конце XIX века в приневском крае появились сектанты, в особенности «прыгуны», их странные обычаи и приемы молитвы имели особенный успех именно в среде савакот.

Исторически финны никогда не давали властям особых поводов для беспокойства. Точнее сказать, в самом начале, при завоевании Ингерманландии войсками Петра I, они некоторое время сохраняли преданность старым властям. «Чухна не смирны,» – отмечал в донесении царю фельдмар-

шал Шереметев, от стен Ниеншанца отправившийся брать Ямы и Копорье, – «Чинят некия пакости и отсталых стреляют, и малолюдством проезжать трудно; и русские мужики к нам неприятны: многое число беглых из Новгорода и с Валдай, и ото Пскова, и добры они к шведам нежели к нам». Почувствовав твердую руку царей, местные жители перестроились и больше уже не давали оснований сомневаться в своей лояльности. С конца XVIII века доля финского населения стабилизировалась и составляла 8–9 процентов сельского населения северо-запада России. В некоторых районах Петербурга, традиционно служивших центрами притяжения финнов, таких, как в первую очередь Выборгская часть, их доля могла доходить до 12, а с учетом приезжих – и до 15 процентов, но то уже был предел. Русские, доля которых в общем и целом никогда не опускалась ниже 90 процентов, решительно не ощущали никакой угрозы с этой стороны.

Говоря более строго, материалы по исторической психологии петербуржцев дают более разнообразную картину. Историк припомнит и лубочную сатиру на Петра I, где государыня Екатерина Алексеевна обозвана «чухонкой Маланьей», и то, что наложница царевича Алексея, едва не вышедшая в жены, известная Ефросинья Федорова, была по происхождению чухонкой. Народ отметил это в свое время с некоторым неодобрением. Можно припомнить и ходившие в свое время по Петербургу упорные слухи о том, что подлинный государь Павел Петрович родился-де мертвым, и был

подменен в колыбели чухонским младенцем (специалисты не исключают, что слухи восходили к самой матери, Екатерине II, которая таким образом пыталась поставить под сомнение его права на престол). Перечень таких фрагментов можно продлить вплоть до XX века. В минуту раздражения тещей, поэт Александр Блок записал в дневнике, что она-де женственная, но пустая чухонка (на самом деле в жилах жены Д.И.Менделеева текла шведская кровь). Но о чем же все это говорило? Разве только о низком общественном положении чухонцев, равно как и об их далеко зашедшей ассимиляции.

Впоследствии у нас сложилась прочная традиция бытописательства, начатая прославленным сборником «Физиология Петербурга», вышедшим в 1844, и продолжающаяся с некоторыми перерывами вплоть до написанных в наши дни воспоминаний Л.В.Успенского, Д.А.Засосова, В.И.Пызина, а с ними и многих других мемуаристов и краеведов. Кто еще рассказал бы нам о любимых петербуржцами лиловато-коричневых кренделях с непременно припекшимися к нижней, светлой стороне угольками и соломинками? Они продавались во многочисленных финских булочных. Кто поведал бы нам о поездках на дачу, на Карельский перешеек поездами Финляндской железной дороги? Их деловитые финские служащие были одеты в одинаковые голубые кепи. Откуда узнали бы мы о такой характерной примете петербургского рождества, как молчаливые «пригородные чухны», приво-

зившие в сумерки сотни елок? Они сваливали их у Гостиного двора, на Сенном рынке, и далее – едва ли не к каждой зеленной лавке. Что же тут говорить! Положительно, Рождество имело для жителя Петербурга финскую окраску, так же как и масленица, с традиционным катанием на финских извозчиках – «вейках».

Прекращение петербургского периода российской истории совпало по времени с отделением Финляндии. Причинная связь здесь была, и прямая: о ней любили поговорить еще первые революционные демократы. «Для нас самостоятельность Финляндии становится такой же дорогою, внутреннею мыслью и целью, как для финнов коренное преображение России из петербургской в народную и федеративную», – писал Н.П.Огарев. По поводу этих слов можно иронизировать – но нельзя отрицать того, что в независимости Финляндии Огарев видел залог ее мирного соседства с Петербургом.

После революции, изрядно перетряхнувшей все население города и области, и это забылось. Весной 1918 года, не дожидаясь полного поражения в своей Гражданской войне, в Петроград прибыла первая группа финляндских красногвардейцев, довольно значительная по численности. Беженцев разместили по всему городу, от Выборгской части – до Павловских казарм на Марсовом поле. Едва оправившись от потрясений, они решили принять участие в праздновании Дня международной солидарности трудящихся – перво-

го после победы в России пролетарской революции, вышли и разом влились в колонны первомайской демонстрации. Их оказалось так много, что многих жителей Петрограда это насторожило. Чуткое ухо петроградского обывателя, издерганного лишениями и бедствиями, с тревогой прислушивалось к голосам, новым для центра «северной Пальмиры». «Когда бежали русские из опустелой столицы, вдруг заговорила было по-фински, по-эстонски петербургская улица. И стало жутко: не возвращается ли Ингерманландия, с гибелью дела Петрова, на берега Невы? Но нет, русская стихия победила, понажала из ближайших и дальних уездов, даже губерний, возвращая жизнь и кровообращение в коченевшую Северную Коммуну», – писал в 1926 году знакомый с событиями не понаслышке Г.П.Федотов.

В окрестностях Ленинграда осталось около 200 тысяч сельского населения, плюс еще примерно десятая часть этого числа в городе. Большинство из «пригородных финнов» чувствовало себя полноценными советскими гражданами, так что репрессии тридцатых годов свалились им как снег на голову. Плоды же тех грустных событий годов более чем значительны для нашей темы. До того времени можно с известными оговорками рассуждать о непрерывности образа жизни и духовной традиции прибалтийско-финских народов Ингерманландии: еще в середине двадцатых годов, ленинградский этнограф Н.И.Гаген-Торн без особых усилий обнаружила и описала тайный «бабий праздник» весьма архаич-

ного типа в ижорской деревне, в непосредственной близости от Ленинграда. Руны записывались едва ли не повсеместно; примеры легко умножить. После сороковых годов, взгляду исследователя открывается картина случайно уцелевших обломков этой традиционной культуры.

С точки зрения властей, главная вина «пригородных финнов» состояла в том, что граница новой, независимой Финляндии прошла по Карельскому перешейку, почему их деревни и оказались в приграничной полосе. Следовательно, в случае войны они могли выступить как «пятая колонна» белофиннов. Серьезных поводов так думать не было. Ингерманландцам можно было припомнить разве лишь то, что их небольшие соединения воевали на стороне эстонцев и финнов во время «похода на Петроград» в 1919 году. Целью национального движения ингерманландских финнов, провозглашенной летом того же, 1919 года, было достижение независимости, возможно – в составе федеративного государства финнов, эстонцев и карелов. Тогда же был принят их новый национальный флаг в виде синего креста с красной каймой на желтом поле и начали формироваться национальные органы власти. Уже в 1920 году, эта попытка национального самоопределения потерпела провал.

Следует подчеркнуть, что абсолютное большинство «пригородных финнов» либо не знало об этих планах, либо и думать о них забыло. Впрочем, кого в сталинскую эпоху заботили исторические соображения и доказательства? Пра-

вовую базу преследований – если здесь можно говорить о праве – составил ряд актов, прежде всего постановление бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 1930 года о выселении местного населения из погранполосы, с целью обеспечения безопасности Ленинграда. Далее надо назвать распоряжение НКВД СССР от 1935 года об очистке погранзоны Ленинградской области и Карелии от кулаков и антисоветских элементов, в порядке репрессии. Даже цитирование казенной фразеологии этих учреждений оставляет неприятное впечатление. Что же говорить о реальной жизни! Из Куйвозовско-Токсовского национального финского района в один недобрый день за двадцать четыре часа было выслано более 22 тысяч человек, в итоге чего опустело не менее ста деревень. Репрессии коснулись также других сельских районов. Ну, а потом накатил вал 1937–1938 годов, накрывший и городских финнов. Те, кому дали малые сроки, считали себя удачливыми. Закрыты были культурно-образовательные учреждения, а их было немало: одних финноязычных школ более трех сотен, не говоря о театральной студии, радиопередачах и газетах.

Все эти безобразия были так же необоснованны, как издевательства над целым рядом народов и общественных групп, предпринятые в те годы. Пригородные финны были в массе своей вполне лояльны – а, говоря человеческим языком, хотели оставаться в родных местах вне зависимости от того, какая власть была наверху. В подтверждение этого приведем

лишь один удивительный эпизод их послевоенной истории. За годы второй мировой войны порядка 63 тысяч финнов Ленинградской области попали на территорию Финляндии и прижились там. Сразу после заключения мира к ним поехали сталинские эмиссары, уговаривая вернуться обратно, в братскую семью народов, и обещая прощение. Так вот, не менее 50 тысяч подумали – и вернулись обратно. А ведь эти люди помнили репрессии тридцатых годов, финскую войну, равно как последовавшие за ней новые репрессии. Нужно ли добавлять, что их эшелоны пошли из Финляндии не в родные места, а в отдаленные местности центральной России, если не прямо на лесоповал.

После войны, по мере укрепления политики «финляндизации», в городе снова появилось достаточно много этнических финнов. Впрочем, на сей раз то были туристы, перемещавшиеся по городу в комфортабельных автобусах под бдительным оком компетентных органов, по преимуществу в пределах «золотого треугольника», ограниченного Эрмитажем, Кировским театром и рестораном «Садко», и в живое общение с жителями города практически не вступали. В конечном итоге, «финский мир», столетиями игравший не первую и не вторую, но все же слышную партию в мелодии города, теперь в значительной части был оттеснен на северо-запад и замкнут за новой границей.

Голос болот

Вчитавшись в текст Вступления к «Медному всаднику», мы видим, что «приют убогого чухонца», равно как другие приметы предыстории Петербурга, занимает в ней свое, хотя и очень скромное место. До прихода Петра тут было царство природы, частично им покоренное, частично же загнанное в бездны, где продолжало яриться, показывая по временам свой нрав в виде наводнений. Частью этого царства и был народ «печальных пасынков природы», привыкший ждать от нее милостей и слившийся с нею издревле в одно целое. Тут нужно заметить, что Пушкин знал о финнах гораздо больше: достаточно обратиться к его юношеской поэме «Руслан и Людмила». Кто не помнит начала ее первой песни с ученым котом, разгуливающим по цепи, и богатырями, выходящими из моря. «Там русский дух… там Русью пахнет!», – воскликнул поэт, и мы готовы согласиться с ним, оговорившись, что и финского духа в поэме предостаточно, более того – именно он обеспечивает движение интриги на ее основных поворотах.

«Но слушай: в родине моей / Между пустынных рыбарей / Наука дивная таится, / Под кровом вечной тишины, / Среди лесов, в глуши далекой, / Живут седые колдуны; / К предметам мудрости высокой / Все мысли их устремлены; / Всё слышит голос их ужасный, / Что было и что будет вновь, / И

грозной воле их подвластны / И гроб и самая любовь»… Эти слова вложены в первой песни поэмы в уста старому Финну – одному из троицы волшебников, борющихся за Людмилу. В беседе с Русланом старец рассказывает, что родом он – «природный финн», родившийся в северном краю утесов и дремучих лесов. Наина принадлежит к тому же народу. Финн встретил ее в молодости, поскольку она жила на соседнем хуторе. На происхождение Наины указывает и ее имя: по-фински «nainen» значит женщина. Что же касается Черномора, то он живет где-то еще севернее, среди обнаженного леса и угрюмых гор. Он происходит из другого рода, чем Наина и Финн, но понаслышке знает обоих, и даже как будто находится с ними в каких-то сложных отношениях. Это выясняется, когда Наина прилетает к Черномору в облике черного змия. Учитывая дополнительные сведения – к примеру, возможную причастность к похищению светил («он звезды сводит с небосклона, он свистнет – задрожит луна»), в образе Черномора просматриваются черты, близкие к владыке Похъёлы из мифологии «Калевалы».

Магические действия этих персонажей описаны в подробностях, и играют едва ли не ключевую роль в движении сюжета к развязке. Достаточно перечитать поэму с этой точки зрения, чтобы убедиться в ее справедливости. Но какой был смысл делать волшебников финнами – то есть относить их к народу, давно известному жителям Петербурга, причем с довольно прозаической стороны? На то было две причины,

первая – литературная: «Руслан и Людмила» – романтическая поэма, а в этом стиле на северную Европу было принято смотреть как на край загадочный и туманный, родину всяческих бардов и скальдов. Присоединив Финляндию в 1809 году, Россия как бы получила удел в этом нордическом наследстве. Сначала наши поэты увидели там рунические камни, развалины храмов Одина и готические замки – то есть скандинавские, по преимуществу старошведские древности. Однакоже местный колорит представлял настолько богатые возможности для романтически настроенного писателя, что нужен был лишь легкий «поворот винта», чтобы выпустить на сцену совсем иных персонажей. Так и произошло, а финское колдовство стало подлинной «притчей во языцех» российских литераторов 1820–1830 годов. Вводя в свою поэму образы финских волшебников, Пушкин примыкал таким образом к одной из влиятельных тенденций отечественной словесности своего времени.

Другим источником Пушкина было устное народное творчество. Исследователи уже обратили внимание на то, что некоторые образы в его поэзии можно объяснить только, исходя из данных смешанной русско-финской традиции в том виде, в котором она сложилась тогда в селах Петербургской губернии. Такова царевна-лебедь в «Сказке о царе Салтане»: как мы помним, у ней «месяц под косой блестит, / А во лбу звезда горит». С одной стороны, образ девы-лебеди принадлежит в миру русского фольклора., а также и сватовствав –

это, конечно, исконно русский образ. Удачное сватовство у нас неизменно сравнивали с хорошей охотой. Что же касается звезды во лбу и месяца под косой, то для русского фольклора того времени, это – примета решительно необычная. Зато у наследников традиции «Калевалы» она пользовалась широкой известностью, в особенности в Ингерманландии. Как верно напомнил известный исследователь карело-финского фольклора Э.С.Киуру, в XIX веке здесь были записаны варианты руны, где героиня отправлялась в Похъёлу выручать похищенные светила и возвращалась, принося их на голове, бровях или плечах.

Руны этого круга вовсе не были потаенными. Русские и чухонские девки имели обыкновение распевать их, забравшись на качели. Был и такой обычай: взявшись под локотки, женщины составляли плотную шеренгу, перегораживали главную улицу деревни и гуляли по ней взад и вперед, распевая древние руны во все горло… Надо думать, что информант Пушкина был знаком с культурой этого круга, а то и сам – точнее, сама – расхаживала по своей деревне, какой-нибудь Суйде или Кобрино, ведя древний напев, поводя плечами, и стреляя глазками по сторонам. Названия деревень даны тут не случайно. В этих местах под Гатчиной родилась, выросла и жила некоторое время после замужества известная Арина Родионовна, няня Пушкина. По матери она была русская, отец же девочки, по имени Родион Яковлев, был крещеный чудин, скорее всего, – карел или ижо-

рец. Факт этот малоизвестен, но ничего не решает: культура тех мест была сплошь смешанной, финско-русской. Таков был родник, откуда Пушкин черпал свои познания «старинных былей, небылиц».

Итак, поэт мог смотреть на финскую магическую традицию как на исконную для окрестностей Петербурга и в общих чертах знакомую с детства, по крайней мере понаслышке. При этом она оставалась замкнутой в «делах давно минувших дней, преданьях старины глубокой». Этому не противоречило присутствие финского волшебства при переходе от старины к современности, то есть при заложении города. Мысль такого рода могла быть Пушкину не чуждой. На нее наводит сходство «пустынных рыбарей» из речи Финна с такими выражениями из Вступления к «Медному всаднику» как «пустынные волны» и «финские рыболовы»… Впрочем, не будем вычитывать из текста «Медного всадника» того, чего в нем нет. Создавая «петербургский текст», Пушкин с самого начала исключил из него участие финской магии в основании Петербурга. Принимать это решение или нет, никогда не было вопросом для русской культуры. Вместе с тем, ощущение некоторой неполноты подспудно оставалось. Оно было разрешено в вышедшей в 1841 году повести В.Ф.Одоевского «Саламандра».

Действие повести приурочено к первой половине XVIII столетия. Легенда об основании Петербурга вложена в уста одного из героев – природного финна, уроженца Иматры и

адепта древних тайн своего народа. Соперничество за устье Невы объясняется тем, что здесь зарыта приносящая счастье волшебная мельница Сампо. Петр I не может так просто построить свой город, поскольку его тут же засосало бы болото. Царю приходится сковать город на воздухе, и уже готовым опустить на топкие невские берега. Умирив стихии, царь возлагает на себя венец и золотит благодарную Финляндию. Современные исследователи склоняются к мысли о литературном происхождении этой легенды. «Приведенный рассказ, конечно, характеризует не финский фольклор, а концепцию Петербурга в том кругу близких к Пушкину петербургских литераторов 1830-х годов, к которым принадлежал и Одоевский», – решительно заметил Ю.М.Лотман. Признавая влияние литературной традиции, нужно напомнить, что среди местных рунопевцев времен Одоевского нередким было убеждение, что волшебная мельница Сампо либо хранится до времени в земле (или в болоте), либо она уже слилась с почвой. Как верно отметил В.Г.Базанов, с таким толкованием встретился сам Элиас Лённрот и сочувственно процитировал его в одном из своих писем 1849 года. По его мнению, финское название Финляндии – «Suomi» (а следовательно, и болота как такового – «suo») содержит тот же корень, что и слово «Сампо».

Интересно в повести и то, что болото не принимает града построенного, но принимает град кованый. Здесь видно взаимное тяготение – или, говоря старинным языком, симпатия

таких несхожих начал, как влажное болото и раскаленный металл. На нынешний взгляд тут есть противоречие, на старый – отнюдь нет. Дело в том, что обитатели наших мест в старину не знали высококачественного железа, а довольствовались так называемым самородным, которое по определенным приметам находили в болотах. Историки рудяного промысла этого типа подтверждают его исконную распространенность в наших местах, в первую голову – на заболоченных территориях южной Ингерманландии, простирающихся полосой от Копорья до Орешка. В этом контексте предание о ковке Петербурга над болотом выглядит отнюдь не так странно – более того, оно воскрешает давно позабытые знания.

Знакомство В.Одоевского с преданиями финской старины не подлежит сомнению. В предуведомлении автора, предпосланном тексту «Саламандры», прямо говорится о «Калевале», с уважением поминается имя Элиаса Лённрота, упоминаются и главные информанты писателя – русские крестьяне, живущие в Карелии. Говоря о магической культуре финнов, Одоевский пишет: «Жизнь, близкая к природе, научила их знать свойства трав и кореньев; им известны даже таинства животного магнетизма; все это играет у них роль колдовства; послушайте рассказы о нем русских крестьян, поселившихся в Финляндии». По тексту повести рассыпаны и другие небезынтересные намеки. Так, героиня повести, младая Эльса, с детства знакомая с финской магией,

поселяется в Петербурге и приобретает некоторую известность. Во всяком случае, доктор из местных немцев, склонный к оккультным занятиям, приглашает ее на сеанс, угощает настоем опия и сосредоточенно слушает. Эльса впадает в транс, уходит в себя – и наконец, начинает петь руны «Калевалы»… Учитывая едва ли не ведущее место В.Одоевского в оккультных кругах Петербурга (его нередко именовали «русским Фаустом»), в возможности сеансов такого рода трудно сомневаться. Историки литературы добавляют к этому, что архив Одоевского сохранил также заметки о его странствиях по Финляндии, и даже записи 25 рун. Приняв во внимание сказанное, нужно предположить, что положение о чисто литературном происхождении «Саламандры» нуждается в определенной корректировке.

В творчестве Н.Греча наше внимание привлекает роман «Черная женщина», вышедший первым изданием в 1834 году. Было время, когда им у нас просто зачитывались. Одна из начальных сцен задает общий тон романа. Она происходит в окрестностях Петербурга, в Финляндской Швейцарии, в селе Токсово, ранней осенью 1796 года. Случай сводит вечером, у камина нескольких петербургских дворян, таинственного чудака Алимари и местного пастора. Рассказываются всяческие страшные истории – преимущественно из жизни шведского двора, но также и из времен Анны Иоанновны. Пробудившись ото сна, собеседники завтракают и отправляются осматривать окрестности. Вид увядающей при-

роды вновь вызывает у них прилив мистического настроения. С ним согласуется и грустный звук флейты, на которой играет Алимари: он встал раньше других и отправился на склон горы над знаменитыми токсовскими озерами. Услышав от пастора, что местность стала гористой после древней катастрофы – скорее всего, землятрясения – он бледнеет и начинает собираться в путь. Торопятся и остальные. «Барометр падает, и мне не хотелось бы погрязнуть в финских болотах», – фыркает один из них. «Древний ужас», terror antiquus, поднимающийся со дна болот, накладывает отпечаток на дальнейшие поступки и размышления героев. Отголоски его прослеживаются в предсмертном письме Алимари, написанном одному из его давних токсовских собеседников. Торопясь передать не дающую ему покоя и, видимо, важную метафизическую идею, старец писал, что жизнь человеческая берет начало в Боге и связана с ним неразрывно, наподобие растения, вырастающего из черной влажной почвы, и берущего из нее все необходимое для жизни. Эта «низкая» интуиция, помещающая божественное начало не в надзвездные сферы, но гораздо ближе, буквально под ноги, была достаточно распространенной во времена Греча, но отнюдь не преобладавшей. Учитывая то, что письмо завершает роман и как бы подводит под ним черту, можно полагать, что это чувство, навеянное прогулками по болотам, не было вполне чуждым и самому автору.

Финская метафизика была чужда как Гречу, так и его ге-

роям. Впрочем, стоит принять во внимание, что Токсово было крупным и едва ли не ближайшим к Петербургу центром финского населения. Первенствовало оно и в духовном отношении: место пастора местной кирхи считалось весьма ответственным. Так, в послужном списке Густава Левануса, возглавившего в 1733 году финско-шведскую лютеранскую общину Санкт-Петербурга, значились непосредственно до того служба настоятелем токсовской кирхи, а еще ранее – помощником пастора в Выборгее, чужда она была и героям Греча. Последовательность мест службы говорит сама за себя! К этому стоит добавить, что окрестности Токсова всегда изобиловали урочищами, связанными с нечистой силой. Взять для примера хотя бы ту улицу, на которой стоял в старину домик местного пастора. В нем, как мы помним, произошла та вечерняя беседа о мистике, с которой и начинался роман Н.Греча. Теперь она представляет собой длинный тупик, который начинается сразу за новой лютеранской кирхой – слева, если ехать по шоссе из Петербурга. Между тем, в старые времена, она представляла собой отрезок важнейшего тракта, ведшего из Нотебурга в финские земли. Несколько далее по ее трассе, вблизи нынешнего «лыжедрома», располагалась так называемая Чертова поляна, внушавшая окрестному населению подлинный страх. На поляне лежал огромный валун со следами древних петроглифов, получивший у финнов наименование Чертова камня («Pirukivi»). Ближайшее поселение по этой дороге носит название Хит-

толово, что в говоре местных жителей также означает «Чертова». Впрочем, они сохранили и память о том, что в старые времена деревня, напротив, носила имя «Святая». Как хорошо знают этнографы, такие названия обычно маркируют места, где до принятия христианства отправлялись языческие культы. По другую сторону токсовской горы, которые выбрали для прогулки герои Греча, лежит озеро Хэпоярви, а это означало на диалекте местных финнов не что иное, как «Лошадиное». Один из красивейших его мысов носит название Хэвоспяя, то есть «Конская голова». Таким образом, легенды о жертве коня, очень распространенные в седой древности в ладожском ареале, скорее всего сказывались, а может быть, и создавались на берегах токсовских озер. Нам ничего не известно, правда, о раскопках на вершине токсовского холма – там, где стояла старая кирха, а рядом с ней и дом пастора. Однако христианские храмы так часто ставились на руинах языческих капищ, что их результат, кажется, можно предугадать. Основываясь на таких наблюдениях, можно предположить, что выбор Токсова был не ключевым, но и не вполне случайным для замысла романиста.

Намеченный таким образом «токсовский текст» внес свою лепту в состав всего «петербургского текста». Учет этого обстоятельства позволяет сделать полезные дополнения к пониманию творчества некоторых петербургских писателей. Последним в их ряду был, кажется, Константин Вагинов, посвятивший свое перо описанию литературного быта

ленинградской интеллигенции 1920-х годов. Особое место в творчестве Вагинова занял роман «Труды и дни Свистонова», вышедший из печати в 1929 году. Герою романа – писателю Свистонову – автор доверил некоторые из своих излюбленных мыслей. Уже во второй главе он отправил своего героя на токсовскую дачу, на лето, поработать и проветриться. Глава так и названа: «Токсово». В один из вечеров дачники отправляются на прогулку по окрестностям Токсово, поднимаются на холмы и спускаются к озерам. Свистонов идет под руку с глухой женщиной. Беседу вряд ли можно назвать оживленной, но вдруг он начинает формулировать нечто более чем важное для себя: «Поймите, – продолжал Свистонов, он знал, что глухая ничего не поймет, – искусство – это совсем не празднество, совсем не труд. Это – борьба за население другого мира, чтобы и тот мир был плотно населен, чтобы было в нем разнообразие, чтобы была и там полнота жизни, литературу можно сравнить с загробным существованием». Он повторяет последние слова, охватывает взглядом холмистый пейзаж, и продолжает в крайнем волнении: «Вообразите, – продолжал он, вежливо склоняясь, – некую поэтическую тень, которая ведет живых людей в могилку. Род некоего Вергилия среди дачников, который незаметным образом ведет их в ад, а дачники, вообразите, ковыряют в носу и с букетами в руках гуськом за ним следуют, предполагая, что они отправляются на прогулку. Вообразите, что они видят за каким-нибудь холмом, какую-нибудь ложбин-

ку, серенькую, страшно грустненькую…».

Суть эпизода ясна: вид печальных окрестностей переходит в «видение гробовое», а литература уступает место метафизике. Здесь у внимательного читателя может промелькнуть ассоциация с чем-то, читанным давным-давно у Н.Греча. Перевернув страницу, он читает еще об одной прогулке Свистонова: она оживляется нежным звуком флейты. На флейте играет старенький музыкант, расположившийся со своим инструментом прямо над озером. Его появление удовлетворительно объяснено, но чувство уже читаного – déjà lu – усиливается. Наконец, еще через несколько страниц дачники заглядывают в местную кирху и видят не кого иного, как самого токсовского пастора. Тут наше предположение приобретает черты уверенности. По-видимому, автор романа хотел бы, чтобы мы читали главу «Токсово» в контрапункте с соответствующим фрагментом старого романа «Черная женщина»… Правда, было бы большой натяжкой говорить о хорошем знакомстве ленинградской интеллигенции конца двадцатых годов с романом Н.Греча. Для этого нужно было быть человеком начитанным и даже, пожалуй, литературно изощренным. Но Вагинов как раз и был таким человеком – любителем старых книг, душевным другом Бахтина и Кузмина – и по собственному выражению, «гробовщиком» петербургского мифа.

Заметим, что вполне доверять Вагинову в вопросе о пресечении этого мифа все же было бы опрометчивым. Доста-

точно открыть «Дачную местность» А.Г.Битова – одну из не самых известных, но мастерски написанных вещей здравствующег ныне маститого прозаика, на пометке «11 октября». Читаем о выезде на дачу в Токсово, о вечерней прогулке между холмов, о костре, горящем где-то высоко. А далее, уже на следующей странице, следует приступ страха смерти, и размышлений о смысле жизни…

Суждено ли «токсовскому тексту» продолжиться – сказать пока трудно. Возвращаясь же к XIX столетию, можно заметить, что финская тема звучала в литературе достаточно приглушенно. С точки зрения славянофилов, она недостаточно слилась с русской темой допетровских времен. «На дальнем севере, в гиперборейском крае, / Где солнце тусклое, показываясь в мае, / Скрывается опять до лета в сентябре – / Столица новая возникла при Петре. / Возникнув с помощью чухонского народа / Из топей и болот в каких-нибудь два года, / Она до наших дней с Россией не срослась…». Спору нет, эти строки, которыми Н.Некрасов начал свою «Дружескую переписку Москвы с Петербургом», представляли собою скорее пародию на квасной патриотизм конца 1850-х годов. Но думается, что многие славянофилы согласились бы с заложенной в них едкой иронией по адресу Петра I и его сотрудников. Западники смотрели на финнов под другим углом. Для них этот народ был недостаточно приобщен к началам цивилизации и по сути мало отличался от тяжелой на подъем, закосневшей русской массы. В написанном В.Г.Бе-

линским в 1844 году очерке «Петербург и Москва» дается колоритное описание облика мещанского и купеческого сословий в Москве. Что касается Петербурга, то «здесь они как будто не у себя дома, как будто в гостях, как будто колонисты или заезжие иностранцы. Петербургский немец более их туземец петербургский». В этой цитате можно было бы с известной натяжкой заменить немца на, скажем, какого-нибудь мастеровитого петербургского шведа – но финн не подошел бы ни в коем случае. В общих чертах такое видение было характерно и для Ф.М.Достоевского – с той естественной оговоркой, что его петербургские романы 1860–1870 годов писались в изменяющемся контексте, под влиянием сближения с идеологией почвенников и противостояния нигилизму.

Вместе с тем, Достоевский был не только и не столько писателем социальным, сколько психологическим, и более того – метафизическим. «Он изучал человеческую личность не в ее „эмпирическом характере“, не в игре видимых причин и следствий, но именно в ее „умопостигаемых“, в ее хтонических глубинах, где смыкаются и размыкаются таинственные токи первобытия», – проницательно заметил в тридцатых годах прошлого века Г.В.Флоровский. Спускаясь в подполья души, писатель наталкивался на пласты, иной раз не до конца явные ему самому, и свидетельствовал о них. К числу таких свидетельств относилась и странная греза Аркадия Долгорукого: «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: „А что как разлетится этот ту-

ман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?“». Фон для этих слов составляло раннее, холодное, заполненное «сырым, молочным туманом» петербургское утро, одновременно прозаическое и едва ли не самое фантастическое на земле, по словам самого героя. Что же касалось его грезы, то грез на самом деле было три, и о них рассказано подряд. Для лучшего понимания этой конструкции обратимся к началу восьмой главы, первой части вышедшего в 1875 году романа «Подросток»,

Первая греза принадлежала Германну из пушкинской «Пиковой дамы». «Колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип, – тип из петербургского периода!» – пометил в скобках герой Достоевского. Это замечание существенно: оно определяет Петербург как заколдованное место, где такие грезы укрепляются, а в некотором смысле и сбываются. Как мы помним, Германн мечтал о «фантастическом богатстве». Фон его грез также памятен читателю («погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты»). Вслед за тем у Достоевского идет вторая, уже знакомая нам «греза о Медном всаднике». Она захватывает не только волю одного литературного героя, но уже целый город с его проспектами и площадями. И, наконец, следует третья интуиция, включа-

ющая в «пространство мозговой игры» уже всех обитателей города, вплоть до, может статься, и автора романа: «Вот все они кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится – и все вдруг исчезнет». Построенная таким образом цепочка «вложенных» друг в друга мечтаний закрепляет в составе «петербургского текста» весьма давнюю в европейской литературной традиции и чисто метафизическую тему, которую можно условно обозначить как «сон сна». Для нас же существеннее всего, пожалуй, то, что автор не нашел для ее утверждения более зыбкого и призрачного постамента, чем древнее финское болото… Да, в этом странном рассказе Аркадия Долгорукого Достоевскому удалось выговорить нечто существенное для каждого петербуржца. Видение «исчезающего города» заняло свое место в ряду своего рода формул, подход к которым и способ использования в собственных текстах сразу позволили последующим поколениям наших литераторов определить свое понимание «души Петербурга».

К примеру, в романе Д.С.Мережковского «Петр и Алексей» нет еще Медного всадника, но есть уже город Петра I, набросанный вчерне, в торфе и глине. Приглядываясь к нему, один из героев как будто прозревает: «Вдруг все изменилось. Петербург видом своим, столь непохожим на Москву, поразил Тихона … все было плоско, пошло, буднично, и

в то же время похоже на сон. Порою, в пасмурные утра, в дымке грязно-желтого тумана, чудилось ему, что весь этот город подымется вместе с туманом и разлетится, как сон. В Китеже-граде то, что есть – невидимо, а здесь, в Петербурге, наоборот, видимо то, чего нет; но оба города одинаково призрачны. И снова рождалось в нем жуткое чувство, которого он уже давно не испытывал – чувство конца». Одна эта цитата дает представление о месте Мережковского в создании «петербургского текста». Относясь к традиции XIX века, от Пушкина до Достоевского, как к канону, он до предела очистил и усилил то, что услышал как «главные мысли» классиков. Получился своего рода компендиум, из которого потом обильно черпали символисты. Наряду с этим, формула Достоевского здесь существенно изменена. Вот как она сокращенно выражена в начале цитированной выше восьмой главы «Подростка»: «Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазия, наконец – поэзия, а стало быть, вздор…». Не так у Мережковского: тут уже в полную силу звучит тема конца времен. Для символистов и был характерен переход к пониманию Петербурга как форпоста, поставленного на границе не только между культурой и дикостью, но и шире – между историей и хаосом.

К числу таких «формул», подхваченных Мережковским, относится и белая ночь. С недоумением и предчувствием беды вглядывается в нее царевич Алексей: «Царевич прочел надпись в солнечном кругу: Солнце позна запад свой,

и бысть нощь. И слова эти отозвались в душе его пророчеством: древнее солнце Московского царства познало запад свой в темном чухонском болоте, в гнилой осенней слякоти – и бысть нощь – не черная, а белая страшная петербургская ночь». С тем, что русские традиционалисты не были знакомы с белой ночью, можно поспорить. Будучи начитан в старой литературе, царевич Алексей Петрович мог припомнить хотя бы известное послание Ивана Грозного монахам Кирилло-Белозерского монастыря, где царь подшучивал над привычными северным жителям белыми ночами: «У вас в Кирилове в летнюю пору не знати (не различить – Д.С.) дня с ночью», – насмешливо писал он. Однако бесспорно то, что Мережковский с особой силой прочувствовал роль белых ночей как сакрального времени Петербурга, равно как и их внутреннюю связь с подпочвой, субстратом города – древним финским болотом. На мистическую природу этого времени, «прозрачного сумрака, блеска безлунного» указывал еще Пушкин, но само слово было найдено Достоевским.

Следующий за «петербургскими романами» Достоевского крупный вклад в понимание «души города» был сделан у нас символистами. Следуя за нашей темой, мы обратимся к творчеству трех подлинных мэтров этой школы, начав с Валерия Брюсова. Как известно, Брюсов был удивительно начитанный человек с задатками подлинного полиглота и культуролога. Открыв том его стихов, читатель не затруднится найти там переложения финских народных песен, стихотво-

рение, обращенное к финскому народу, равно как и циклы стихов, написанных в Карелии. Но вчитываясь в них, он не заметит существенных отличий от подражаний латышским дайнам или каким-нибудь малайским песням. Такое впечатление будет справедливо: Брюсов хотел молиться всем богам и внимать душе любого народа. Тут поневоле вспоминается фраза из старого романа, аттестовавшая образование одного из героев как «скорее блестящее, нежели глубокое». Все это так. Но поверхность брюсовских стихов нередко бывает обманчива, иной раз под ней скрываются настоящие омуты. В один из них можно заглянуть сквозь аккуратные метры и рифмы «сайменского цикла» 1905 года, включенного в состав знаменитого сборника «Stephanos». Сайма – это озеро в Финляндии, как бы запирающее с севера изрядную часть Карельского перешейка. После отделения Финляндии, озеро оказалось по ту сторону границы, поэтому ездить туда из Ленинграда нельзя было. Но для петербургской интеллигенции начала века такие поездки были своеобразным ритуалом. Дело в том, что в 1870 году по Карельскому перешейку была протянута линия Финляндской железной дороги, соединившая Петербург с Выборгом, и шедшая дальше, на Риихимяки, а потом и на Гельсингфорс. Ездить на север стало удобно и дешево. Петербуржцы не замедлили оценить это обстоятельство и воспользоваться им. С этого момента Карелия как бы резко приблизилась к Петербургу. Финляндские поэты и писатели смотрели на дело рук железно-

дорожников довольно косо и послали по его адресу немало проклятий. «Der vi förut från vilda stränder summo / Till flodens djup, stå kalla badhuslådor…» («Где прежде мы в речную глубь бросались / Где берег дик – там встал купальный домик»), – так, ядовито и грустно, писала в 1907–1909 годах жившая на станции Райвола (теперь Рощино) Эдит Сёдергран и продолжала перечислять тем же заунывным пятистопным ямбом прегрешения понаехавших из города дачников (перевод наш). Огорчение петербургской шведки можно понять: Карельский перешеек терял исконное своеобразие прямо на глазах. Но местное население в своей массе железной дорогой было решительно довольно: теперь можно было прилично заработать на приезжих, а также на поездках в город для сбыта своих товаров и просто «на вольные хлеба».

Петербургские литераторы осмыслили новое положение на свой лад. Буквально рядом, на расстоянии нескольких перегонов железной дороги, им открылась холодная неосвоенная страна, где не было портиков и лоджий, но были граниты, мхи и озера, где нельзя было осматривать античные монументы с бедекером в руках, но можно было «обрывать нить сознания» и молиться неведомым богам. «Я всегда смутно чувствовал особенное значение Финляндии для петербуржца, и что сюда ездили додумать то, чего нельзя было додумать в Петербурге, нахлобучив по самые брови низкое снежное небо и засыпая в маленьких гостиницах, где вода в кувшине ледяная». Спору нет, Мандельштам писал эти стро-

ки уже в постсимволистском контексте (мы процитировали очерк «Финляндия» из книги «Шум времени», вышедшей в 1925 году). Однако описанную им ситуацию следует примерно приурочить к началу XX века. Карельские пейзажи дополнили таким образом облик Петербурга и включились в его мир на тех же правах, что близлежащие пустыни в образ античной Александрии, или окрестные горы – в жизнь средневековой Флоренции. В таком-то настроении и начинает Брюсов сказывать свой цикл «На Сайме»: «Меня, искавшего безумий, / Меня, просившего тревог, / Меня, вверявшегося думе / Под гул колес, в столичном шуме, – / На тихий берег бросил рок». Заметим, что источник вдохновения поэта был достаточно сложен: думать лишь о природе было бы неверно. В одном из стихотворений цикла, поэт говорит о древних героях «Калевалы» и их борьбе за мельницу Сампо. Таким образом, каменные дебри Петербурга и «ласкательный мир Суоми» объединяются общим для них древним мифом. Ведь если не рассматривать петербургскую культуру как вторичную – то есть принять, что она сама составляет себе и античность и классицизм – тогда на роль архаики для нее может претендовать только мир седой «Калевалы». Мы полагаем возможным условно назвать это интуицией «присвоения Финляндии», то есть выборочного включения ее ценностей в «миф Петербурга», чаще всего на правах предыстории.

В общих чертах такая линия была характерна также для цикла поэтических и философских произведений, создан-

ных на берегах Саймы В.С.Соловьевым: «Тебя полюбил я, красавица нежная, / И в светло-прозрачный, и в сумрачный день. / Мне любы и ясные взоры безбрежные, / И думы печальной суровая тень». Так писал, обращаясь к Сайме, в своем милом экзальтированном стиле маститый религиозный мыслитель, сердце которого отнюдь не было спокойно: за десять дней до того, первого октября 1894 года, он закончил текст своего грозного «Панмонголизма». Сайменское же стихотворение было озаглавлено «Последняя любовь», что дало повод к забавному недоразумению. Петербургские журналисты решили, что, приехав на Сайму, Соловьев влюбился в финскую девицу и потерял голову. Сенсация была налицо, и желтая пресса подняла шум. С улыбкой просматривая эти статейки, философ диву давался фантазии столичных щелкоперов, и с притворным смирением отвечал: «Сознаюсь, что подал повод к такому обвинению: нужно выражаться яснее. Если вдохновляешься озером, то так и говори»… Впрочем, как это нередко случается, наивные люди заметили нечто существенное. Ведь за сиянием глади финского озера философ прозревал лик владычицы мира – вечной Женственности. Некоторые комментаторы указывают на болезненное «эротико-мистическое» напряжение его финляндских стихов.

Соловьев не принадлежал к символистам, но в некоторых отношениях оказал на них известное влияние. Читывал его и В.Брюсов, прослеживается эта линия мысли и в более

поздней традиции. Читатель, наверное, припомнил уже начало замечательного стихотворения, написанного О.Э.Мандельштамом 1908 году в Париже (так был датирован беловой автограф): «О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала…». Кстати, посылая его матери из Франции, поэт заметил в письме: «Маленькая аномалия: „тоску по родине“ я испытываю не о России, а о Финляндии». Брюсов писал о вечере на Сайме, о лучах закатного солнца, пронизывавших воду как «красно-огненные птицы». Пишет о вечере и Мандельштам, «пьяное солнце» бросает и у него «бесшумные стрелы», зажигающие тихое дно озера. Вспоминается ему и «Калевала», ее старинная «песнь железа и камня о скорбном порыве титана» слышится поэту среди пустынных скал. Напряжение нарастает – и разрешается в конце стихотворения молитвой: «Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый, / Я не знаю, как долго, не знаю, кому я молился… / Неоглядная Сайма струилась потоками лавы. / Белый пар над водою тихонько вставал и клубился». Разумеется, Мандельштам читал Брюсова – да и какой петербургский поэт не замирал в эстетическом трансе над страницами сборника «Stephanos». Но речь здесь идет не о заимствованиях, а скорее о череде «карельских откровений», о «сайменском тексте», дополнившем текст петербургский.

В начале творческого пути А.А.Блок ощущал себя поэтом скорее южным. Кое-что здесь шло от реальных фактов биографии, но еще больше – от сознательной ориентации на

Пушкина. «Петербург для Пушкина всегда север. Когда он сочиняет стихи, то всегда как бы находится на каком-то отдаленном юге», – заметила А.Ахматова в замечательном очерке «Пушкин и Невское взморье». Блок не мог видеть этого очерка: он был написан в начале шестидесятых годов. Но если бы прочел, то, пожалуй, согласился бы – разве что зачеркнул бы мысленно повтор слова «всегда», слишком женственный для его вкуса. Такая «южная» ориентация начала деформироваться уже на раннем – светлом и серафическом – этапе его творчества, и распалась на следующем – темном и демоническом. «Сейчас пишу тебе так, потому что опять страшная злоба на Петербург закипает во мне, *ибо я знаю*, что это поганое, гнилое ядро, где наша удаль мается и чахнет, окружено такими безднами, такими бездонными топями, которых око человечье не видело, ухо – не слышало. Я *приникал* к окраинам нашего города, знаю, знаю, что там, долго еще там ветру визжать, чертям водиться, самозванцам в кулаки свистать! Еще долго близ Лахты будет водиться откровение, небесные зори будут волновать грудь и пересыпать ее солью слез, будет Мировая Несказанность влечь из клоаки» (цитируем письмо Блока к Евгению Иванову из Шахматово, 1905). Лирический герой Блока томится в петербургских гостиных, слышит тайным слухом зов из бездны, уходит за сетку дождя, принимает крещение болотной водой и причащается ее тайн. Иной раз кажется, что мы читаем фрагменты какого-то «болотного писания». Если в этом сравне-

нии есть доля правды, то на роль Откровения может претендовать «Ночная фиалка», оконченная весной 1906 года и подведшая черту под многими мыслями того периода. Жанр поэмы определен в подзаголовке как «Сон», и она действительно основана на воспоминаниях о странном сне, пригрезившемся поэту (он сам писал об этом тому же Е.П.Иванову в том же, 1905 году). Но в обоих снах – литературном и реальном – сознание Блока обращалось к одной и той же мокрой и бедной равнине близ Петербурга, где ему привиделось однажды нечто необычайное: «Опустилась дорога, / И не стало видно строений, / На болоте, от кочки до кочки, / Над стоячей и ржавой водой / Перекинуты мостики были, / И тропинка вилась / Сквозь лилово-зеленые сумерки / В сон, и в дрему, и в лень…». Данные в поэме указания достаточно скупы. Но исходя из них и излюбленных направлений прогулок Блока в то время, это место определяется как северная окраина Петербурга, граничащая с Ланским шоссе или Новой Деревней, с меньшей долей вероятности – дорогой, ведущей дальше на Лахту.

Любимые маршруты Блока вообще важны для понимания его образов: их топография составляет как бы отдельный комментарий к его стихам. Тем не менее, в «Ночной фиалке» поэт отстранился от прямых указаний на место действия. Они появились позднее, в ткани написанных одним духом за летние месяцы 1907 года «Вольных мыслей», и смотрятся как вспышки: «Шувалово – Сестрорецкий курорт – Дюны».

Если долго читать стихи «темного периода» и вдруг открыть «Вольные мысли», то чувствуешь как будто в лицо ударил порыв ветра, полного запахом смолы и морской соли. В этих стихах поэт оставляет фантазии, сны и надежды – чтобы помериться силами с беспощадно реальным и жестоким миром. «Если брать по самому большому счету, великая поэзия Блока начинается именно с „Вольных мыслей“», – отметил В.Н.Орлов, и с ним трудно не согласиться. Здесь-то и вырывается на поверхность чистая финская тема: «Моя душа проста. Соленый ветер / Морей и смольный дух сосны / Ее питал. И в ней – все те же знаки, / Что на моем обветренном лице. / И я прекрасен – нищей красотою / Зыбучих дюн и северных морей. / Так думал я, блуждая по границе / Финляндии, вникая в темный говор / Небритых и зеленоглазых финнов». Любопытно, что «Вольные мысли» можно читать как своего рода путеводитель по станциям Приморской железной дороги. Дорога была частной, ее проложили в конце 1890-х годов. Вокзал был на северной окраине города, в Новой Деревне, неподалеку от популярного ресторана «Вилла Родэ». По одной ветке дороги ездили вдоль северного берега Финского залива, через Лахту в сторону Сестрорецкого курорта и финляндской границы; по другой – в дачное место Коломяги, откуда обычно предпринимались прогулки в Шуваловский парк, или до станции Скачки – посмотреть на бега. У поэта менее сильного, какого-нибудь Бенедикта Лившица или Георгия Бломквиста, и получился бы «поэтический путеводи-

тель». Не то у Блока – реальные приметы мест Карельского перешейка почти теряются при обычном чтении. Чтобы их выделить, нужно специально вчитаться в текст, а еще лучше – самому отправиться на взморье с томиком Блока. Решимся предположить, что и для него ни подлинное место событий, ни содержание «темного говора» финнов не имели решающего значения. Важнее почувствовать себя на границе петербургского мира, наполнить легкие воздухом первобытной вольности, и вернуться обратно, в «железно-серые» дебри. На видимой финской границе поэту открывалась граница мира незримого.

Шли годы, сознанием поэта завладевали другие мысли и голоса. К примеру, в стихотворении «Новая Америка», написанном зимой 1913 года, Блок обратился к мечте о преображении России на пути не духовной, а внешней работы – подъема промышленности, горного дела. В предисловии к поэме «Возмездие», появившемся в 1919 году, он возвращается к этой мечте и подчеркивает: Россия должна превратиться «в новую Америку, в новую, а не в старую Америку». Оглядываясь в стихотворении 1913 года назад, к старой России, поэт ищет точное слово, чтобы определить ее, и находит: это – «убогая финская Русь». Нет сомнения, что с точки зрения адептов «стального скока» она так и выглядела. Конечно, это – совсем другая линия мысли. Но старых, карельских прозрений она не могла вытеснить. В том же 1919 году Блок обратился к ним в очерке «Памяти Лео-

нида Андреева». Очерк не пользуется особой популярностью, и напрасно. Это – шедевр русской прозы, близкий не к аморфным некрологам новейшего времени, но к надгробным речам античных риторов. Движение мысли автора кажется неуверенным и затрудненным: «Любил ли я Леонида Николаевича? – Не знаю. Был ли я горячим поклонником его таланта? – Нет, без оговорок утверждать этого не могу». Последовательность неловких вопросов к себе этим не ограничена – однако на каждый дается отрицательный или уклончивый ответ. Зачем же нужно тогда писать очерк? Затем, что были «одинокие восторженные состояния», в которых писатели перекликались, были книги, – и был в 1906 году странный осенний вечер. Дата эта, вообще говоря очень интересна: осенью того года Блок как раз закончил работу над драмой «Незнакомка», отделал набело «Ночную фиалку» и собирался с духом для летнего взрыва 1907 года, давшего «Вольные мысли». Чувство города было обострено до предела, слышался и зов финских болот. «Я помню хлещущий осенний ливень, мокрую ночь. Огромная комната – угловая, с фонарем, и окна расположены в направлении островов и Финляндии. Подойдешь к окну – и убегают фонари Каменностровского цепью в мокрую даль». Эта цепочка фраз по сути ничего не сообщает и не утверждает, она рассчитана на узнавание. Ее подлинный смысл внятен лишь петербуржцу, подошедшему однажды к темному окну, бросившему взгляд в стихию ветра и ливня и ощутившему где-то

в глубине души, гораздо глубже дневных мыслей и привычных расчетов, тяжелый зов с севера. Блок даже не дает себе труда связать этот фрагмент с общим течением очерка. Следует несколько упоминаний о беглых встречах с Андреевым, ненужная цитата из его пьесы… В последнем абзаце он возвращается к тому же вечеру: «Мы встречались и перекликались независимо от личного знакомства – чаще в „хаосе“, реже в „одиноких восторженных состояниях“. Знаю о нем хорошо одно, что главный Леонид Андреев, который жил в писателе Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок, не признан и всегда обращен лицом в провал черного окна, которое выходит в сторону островов и Финляндии, в сырую ночь, в осенний ливень, который мы с ним любили одной любовью. В такое окно и пришла к нему последняя гостья в черной маске – смерть».

Очерк был напечатан в 1921 году; вскоре же не стало и Блока. На первый взгляд может показаться, что напряженность очерка резко отличается от «Вольных мыслей»: здесь – смерть, там – полнокровная жизнь и творчество. Такое впечатление обманчиво: обе темы сплелись неразрывно, как в белых ямбах 1907 года, так и в очерке 1919-го. Вернувшись к циклу стихов, мы видим, что первое же стихотворение «Вольных мыслей» озаглавлено просто: «О смерти»; проследить эту общность и дальше по тексту не составляет труда. Попросту в стихах финская тема взята в мажоре, в очерке – так сказать, в миноре. Модуляция была существен-

на, так как она отразила все то, что случилось с Петербургом за прошедшие годы.

По-своему прозвучала финская тема и в творчестве Андрея Белого: мы говорим, разумеется, о романе «Петербург». Одна из побочных линий поручена революционеру Александру Ивановичу Дудкину. Впрочем, побочной ее можно назвать лишь с изрядной долей условности. Дудкин навязывает герою романа «сардинницу ужасного содержания», то есть бомбу для отцеубийства, вокруг которого и обращаются события романа. Революционер состоит в особых отношениях и с медным кумиром основателя Города. В самом начале романа он переходит Неву по Николаевскому мосту и как будто входит в поле притяжения громадной планеты: пейзаж Сенатской площади становится почти неузнаваем. «За мостом, на Исакии из мути возникла скала: простирая тяжелую, покрытую зеленью руку – загадочный всадник… С той чреватой поры, как примчался сюда металлический Всадник, как бросил коня на финляндский гранит – надвое разделилась Россия; надвое разделились и судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа Россия». Выбор тона здесь не случаен: последнее предложение представляет читателю основную историософскую идею романа. Тем любопытнее упоминание о «финляндском граните», как-то связанном с надломом российской истории.

В середине романа Медный всадник является к Дудкину в гости: «Посередине дверного порога, из стен, пропускаю-

щих купоросного цвета пространства, – склонивши венчанную, позеленевшую голову и простирая тяжелую позеленевшую руку, стояло громадное тело, горящее фосфором. Встал Медный Петр». Сцена пользуется справедливой известностью. Создается впечатление, что новая русская проза достигла здесь пределов выразительности. Менее заметно то, что всего за несколько страниц до того, в главе шестой, явление было предварено визитом другого странного гостя, персиянина Шишнарфнэ. Какой он там персиянин, дело сомнительное и нечистое: речь идет скорее всего о диаволе собственной персоной. Гость признается, что родом он с юга, но проживает в городе Гельсингфорс: – «Мы и прежде встречались?» / – «Да… помните?.. В Гельсингфорсе…». Как не помнить? Молодой и здоровый тогда Дудкин развивал мысль о крушении гуманизма. Что-то сложилось неправильно, подуло сквозняком из межпланетных пространств. Александр Иванович почувствовал, что увлекается куда-то для совершения некого гнусного акта – надо думать, для посвящения на шабаше. Был ли акт, как довелось вернуться, и что это было – вопросы, на которые он отвечать даже самому себе не любил. Но с того времени и начались его странные видения – или, как говорил сам Дудкин, «внушенная мозговая игра». «Напоминание о Гельсингфорсе подействовало; невольно подумал он: – „Вот отчего все последние эти недели твердилось без всякого смысла мне: Гель-син-форс, Гель-син-форс…“».

И, наконец, в самом конце романа уже сошедший с ума Дудкин отправляется убивать провокатора. Его гонит сквозь кусты и туман демонический Всадник «с купоросного цвета плащом» и властно подъятой десницей. Провокатор живет на даче. Обстановка куда как знакома петербуржцу: мелкое песчаное побережье Финского залива, соленый ветер и контур города на горизонте. Убив провокатора, Дудкин усаживается на его тело в позе Медного всадника, важно глядя в пространство и вытянув руку с липкими от крови ножницами. Так его и нашли утром. Этот финал обычно трактуется как приговор российскому революционному движению – а может быть и «петербургскому периоду» в целом. Менее ясно, к чему здесь финская тема.

Прежде всего, при всей их благонамеренности, финляндские власти пользовались широкой автономией, что позволяло им ограничивать деятельность царских сатрапов. В сочетании с близостью к столице Российской империи, это предоставляло революционерам большие удобства, которыми они охотно пользовались. К примеру, на одном из собраний, организованных ими в Финляндии во время нарастания первой русской революции, впервые встретились и познакомились товарищи Ленин и Сталин. Встреча произошла в 1905 году. Тогда же, с середины лета до наступления холодов, в Финляндии скрывался другой «гений революции», Лев Давидович Троцкий. В главе 13 его мемуаров есть замечательное описание жизни в полупустом загородном санато-

рии «Rauha» (то есть «Покой»), затерянном среди холмов и озер, которые покрывал саван раннего снега. «Ни души, ни звука. Я писал и гулял. Вечером почтальон привез пачку петербургских газет… В тишине отеля шорох газет раздавался в ушах, как грохот лавины. Революция была в полном ходу. Я потребовал у мальчика счет, заказал лошадь и, покинув „Покой“, поехал навстречу лавине. Вечером я выступал уже в Петербурге, в актовом зале Политехнического института». Итак, утром – в финской глуши, вечером, если это понадобится – в гуще петербургских событий. На следующий год в Финляндию бежала часть депутатов распущенной государем Первой Государственной думы. Едва доехав до Выборга, они обратились к российскому народу с призывом не платить налогов, в армии не служить и вообще царю не повиноваться… Вследствие многочисленных фактов такого рода, петербургские обыватели стали смотреть на Финляндию как на гнездо противоправительственных сил, откуда и соответствующая линия романа Андрея Белого.

В романе много политики, но это – не политический памфлет. Большое влияние на его концепцию оказало антропософское учение, вошедшее в моду в России в 1910-х годах. Эта доктрина была разработана крупнейшим европейским оккультистом Рудольфом Штейнером. Андрей Белый был представлен ему и увлекся его учением в начале 1912 года – то есть именно тогда, когда особенно напряженно работал над текстом романа «Петербург». Весной того же, 1912 года,

Штейнер пожелал приехать в Россию. По ряду причин Петербург отпадал, и в силу уже знакомой нам логики цикл его лекций решено было провести в Гельсингфорсе. Группа из двенадцати русских учеников выехала туда на Пасху. Штейнер был сдержан и даже угрюм. Он пожелал прочесть для русских слушателей особый доклад о судьбе их страны, которой он придавал исключительное духовное значение. Штейнер видел, что имперский период заканчивается, и страна стоит на пороге хаоса и мрака. Он предостерегал русских слушателей от двух соблазнов – материализма Запада и мистики Востока, уже вступивших в сражение за душу России. Все эти мысли действительно принадлежат основной историософской линии «петербургского романа» Андрея Белого.

Тем более важно то особое место, которое Р.Штейнер уделил финской духовности в своих гельсингфорсских лекциях. Ей была посвящена отдельная беседа, что явно вышло за рамки долга вежливости приглашенного лектора по отношению к устроителям. Штейнер остановился на самостоятельном характере финской мистики, ее связи с «духом места» и отражении в рунах «Калевалы». Следует полагать, что присутствие такой сильной традиции в непосредственной близости к Петербургу могло вызвать у русских слушателей догадку о возможной связи между ними. Здесь нужно заметить, что антропософия возникла на базе более ранней доктрины, а именно теософии, основанной в прошлом веке нашей соотечественницей Еленой Петровной Блаватской. Теософия

смотрит на историю человечества как на последовательную смену ряда рас. При этом оккультная мудрость передается мудрецами предыдущей расы избранным ученикам последующей. По счету Блаватской, сейчас идет пятая «корневая раса» (root-race), к ней принадлежит и русский народ. Что касается мудрости предыдущей, четвертой расы, а говоря точнее, ее последнего, седьмого подвида, то ее тайны сохранили в неприкосновенности до наших дней мудрецы таких народов, как тибетцы, монголы, малайцы – и почему-то венгры с финнами. Отсюда следует особая роль, принадлежащая в современном оккультизме учителям, происходящим с тибетских гор, – но также и из финских болот.

Как видим, финляндская тема в романе Андрея Белого может рассматриваться и под другим углом зрения, вполне далеким от какой-то политики или истории в общепринятом понимании этих слов. Есть и другие ракурсы. Под одним из них поездку революционера Дудкина в Гельсингфорс можно видеть как своего рода «паломничество на север». Правда, последствия такового оказались разрушительными, если не сказать жуткими. Но тут уж все дело зависит от чистоты души и благородства помыслов человека, дерзнувшего пойти «путем на север». В целом же, взглянув через призму «финляндской» интуиции на творчество трех виднейших символистов, мы увидели, как она приводила их к разным, но всегда существенным прозрениям о «душе Петербурга».

Гибель старого Петербурга поразила воображение писате-

лей и поэтов. Тем более любопытно, что некоторым из них она представилась как запоздалая месть древнего финского болота. Обратимся к написанному в 1922–1929 годах «Ленинграду» Эдуарда Багрицкого. Взору поэта открывается начало Петербурга, железная воля Петра – и тела бесчисленных жертв, сваленные в чухонское болото, едва ли не под сваи, на которых встал город. На поверхности кипела жизнь, возводились дворцы и набережные, а в топи шел своего рода алхимический процесс, болото как будто собирало злую волю покойников, подвергало ее очищению и возгонке. Пришло время – и она вырвалась наверх. Вот эти строки: «Но воля в мертвецах жила, / Сухое сердце в ребрах билось, / И кровь, что по земле текла, / В тайник подземный просочилась… / И финская разверзлась гать, / И дрогнула земля от гула, / Когда мужичья встала рать / И прах болотный отряхнула». Сходный мотив встречается и у поэта совсем другого умонастроения и творческой судьбы – Николая Агнивцева. Примерно в то же время, в 1923 году, он выпустил в свет сборник «Блистательный Санкт-Петербург», где есть любопытное стихотворение «Петр 1-й». Диспозиция нам знакома: придя на финское болото, царь повелел поднять из его грязи гранитный парадиз. Город был построен, но на костях, точнее, на «напружиненных спинах» тысяч безвестных мужиков. Древнее финское болото бережно сохранило их ожесточение. Отсюда финал стихотворения, ироничный и жуткий: «И вот теперь, через столетья, / Из-под земли, припом-

нив плети, / Ты слышишь, Петр, как в эти дни / Тебе аукают они».

Сродство вдохновения обоих поэтов очевидно, равно как и общность их литературного источника. Конечно же, это – «Миазм» Якова Полонского, стихотворение, пользовавшееся у нас громкой известностью, и вызвавшее не одну истерику на литературных вечерах. Сюжет его памятен читателю. У кого не замирало сердце при описании дома на Мойке с его налаженным бытом, болезнями хозяйского сына, волнениями самой барыни – и, наконец, явившимся ей мужичонкой, бившим сваи на этом месте при основании Петербурга. На его костях был поставлен роскошный дом, его-то вздох и придушил ребенка. Стихотворение написано в 1868 году, и у нас было принято читать его все больше в народническом духе. Между тем тут есть метафизика города, и достаточно непростая. Полонский говорит просто о болотах, никак далее не определяя их принадлежность. Преемники поэта высветляют его интуицию – для них это древнее финское болото. Конечно, для «петербургского текста» это – частность, но чуткому уху она говорит не только о прошлом, но и о будущем.

Прошли годы, отшумели две финских войны, расцвела и увяла политика «финляндизации»… Северная граница, проходящая поблизости от Петербурга, снова стала проницаемой. Через нее в Петербург снова поехали предприниматели, что неудивительно. Занятнее то, что за ними после-

довали люди свободных профессий, привлеченные прежде всего временной дешевизной жизни. На этот факт обратил внимание в одном из своих интервью 1993 года директор новооснованного Института Финляндии в Петербурге Ю.Маллинен. Напомнил он и о давних традициях финско-российских связей: «Из строителей Исаакиевского собора 20 процентов были финны. Очень многие ювелиры у Фаберже были финны. Все петербургские трубочисты и молочники были чухонцы. В цирках финны были силачами и борцами. А на Финляндском вокзале было так много финских железнодорожников, что их детям даже не надо было учить русский язык – они могли общаться только друг с другом. Я очень надеюсь, что колония финнов в Петербурге будет все увеличиваться». На это хотелось бы надеяться и нам. При этом, в словах финского филолога и дипломата заметен один любопытный нюанс. По сути, он говорил о финнах примерно в том же тоне, в каком высказывался бы о немцах, поляках и других инородцах, живших в старом Петербурге. Между тем, финны, в отличие от прочих, были исконно связаны с почвой Санкт-Петербурга. Остается предположить, что разрыв культурной традиции, образовавшийся за последние сто лет, настолько велик и бесповоротен, что он «уравнял в правах» всех участников событий прошлого, без всякого изъятия.

На этом выводе и следовало бы остановиться, если бы ему не противоречил весь ход наших раздумий. Особенность

метафизики и состоит в том, что она оперирует «сверхслабыми», далекими влияниями, легко преодолевающими пропасть столетий. Иной раз может показаться, что сама память о прошлом изгладилась – но тогда в «шуме времени» появляется новый тон, продолжающий давно забытую мелодию. Об этом поневоле вспоминается при чтении одного из ахматовских стихотворений, помеченного 1956 годом, которое заключено под номером 10 в цикле «Шиповник цветет». Подзаголовок гласит: «Из сожженной тетради», а начинается оно так: «Пусть кто-то еще отдыхает на юге / И нежится в райском саду. / Здесь северно очень – и осень в подруги / Я выбрала в этом саду». Как видим, лирическая героиня Ахматовой оставляет покой юга ради того, чтобы принять тяготы и прозрения «пути на север» – реального, но также метафизического. В следующем четверостишии, она выговаривает в нем нечто продуманное и важное: «Живу, как в чужом, мне приснившемся доме, / Где, может быть, я умерла, / Где странное что-то в вечерней истоме / Хранят для себя зеркала». Чей взгляд виделся в вечерних потемневших зеркалах героине? Чье потаенное присутствие наложило свою печать на эти замедленные амфибрахии?

Как ни удивительно, но мы можем дать предположительный ответ на поставленные вопросы. Черновик стихотворения сохранился и был опубликован. Открыв синий томик «Библиотеки поэта» (1977) на странице 413, мы не найдем строк «… Где странное что-то в вечерней истоме», и так да-

лее. Вместо этого там стоит вот что: «… И, кажется, тайно глядится Суоми / В пустые свои зеркала». Так вот чей взгляд встретила в зеркале героиня Ахматовой осенним карельским вечером… По-видимому, это указание на место действия существенно для понимания замысла автора. Ведь если упоминание Суоми-Финляндии в беловую рукопись не попало и осталось известным только специалистам, то пометка «Комарово» в конце стихотворения была включена в канонический текст и воспроизводилась с ним во всех последующих изданиях цикла. Между тем, Комарово – известное дачное место на Карельском перешейке. До войны тут был финский поселок Келломяки.

Теперь можно вернуться и к самому началу стихотворения. Ему предпослан эпиграф – «Ты опять со мной, подруга осень!» Указан и автор – Иннокентий Анненский. При беглом чтении, отсылка к творчеству прославленного петербургского поэта утрачивает свой вес. Между тем она была принципиально важна для Ахматовой. «Когда мне показали корректуру „Кипарисового ларца“ Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете», – отметила поэтесса в краткой, всего в несколько страниц, автобиографии, написанной в 1965 году и вместившей лишь самые важные события жизни. Из сборника «Кипарисовый ларец» и взята интересующая нас строка эпиграфа. Как известно, текст сборника разделен на тройки стихотворений, связанных общим настроением – «трилистники». Один из них –

«Трилистник осенний» – и начинается этими словами: «Ты опять со мной, подруга осень, / Но сквозь сеть нагих твоих ветвей / Никогда бледней не стыла просинь…». Мерные строки падают одна за другой, погружая читателя в царство осени. Следующее стихотворение трилистника лишь углубляет это настроение, подводя к третьему, завершающему всю композицию – «То было на Валлен-Коски». Кто же не помнит эту прославленную балладу, сравнимую лишь с блоковской «Незнакомкой», однако гораздо более трезвую и безнадежную, кто не повторял ее первых строк: «То было на Валлен-Коски, / Шел дождик из дымных туч, / И желтые мокрые доски / Сбегали с печальных круч…»

Валлен-Коски – это водопад на реке Вуоксе. Дело, стало быть, происходило на севере все того же мокрого, бедного и прекрасного Карельского перешейка. Такое прямое указание на северную, варварскую природу не вполне характерно для классициста Анненского, влюбленного в мягкие очертания теплых стран романского мира. Тут важно указание на неожиданно острое чувство, пронзившее сердце поэта на скользкой смотровой площадке у водопада. Поездка туда была обычной для петербуржца, обычным было и развлечение – сноровистый финн бросал в водопад деревянную куклу. Погружаясь в ледяные струи водопада, она ныряла в черную бездну, всплывала ниже по течению и снова попадала в руки прислужника: «…Мы с ночи холодной зевали, / И слезы просились из глаз; / В утеху нам куклу бросали / В то утро в чет-

вертый раз. / Разбухшая кукла ныряла / Послушно в седой водопад, / И долго кружилась сначала, / Все будто рвалася назад / Но даром лизала пена / Суставы прижатых рук, – / Спасенье ее неизменно / Для новых и новых мук». Получив свои несколько монет, финн снова тащил куклу наверх и ввергал ее в водопад. «Чухонец-то был справедливый, / За дело полтину взял», – безразлично отметил приезжий петербуржец, намеревавшийся развлечься, а теперь не знавший, как справиться с нахлынувшими мыслями.

Должно быть, лирический герой Анненского возвращался с Вуоксы в совсем другом настроении, чем ехал туда. Сравнение бесконечных и однообразных приключений чухонской куклы с «дурной бесконечностью» собственной жизни напрашивалось само собой… Таким образом, продвигаясь вглубь текста как Анненского, так и Ахматовой, мы ощущаем сначала оцепенение осени, затем – близость «пути на север» и, наконец, смутный, но сильный метафизический порыв, пришедший из глубины карельских сумерек. Этот спокойный холодный взгляд, привидевшийся одному поэту в пустом зеркале, а другому – в брызгах водопада, знаком не одному петербуржцу. Он принадлежит одному из духов-покровителей Города, неблизкому, но в общем благосклонному к его обитателям. Почувствовав его приближение, уместно будет поклониться ему с почтением и благодарностью, добром поминая финскую почву Петербурга.

Голос камней

Домик Петра – или, говоря на старинный лад, «первоначальный дворец» – сохранился до наших лет, разве что немного врос в землю, покосился, да невские волны плещутся теперь гораздо дальше от его стен, чем три века назад. Открыв любой путеводитель, мы прочтем, что он был срублен солдатами-плотниками из сосновых тесаных бревен всего за три дня, скорее всего с 24 по 26 мая 1703 года, и представляет собой, таким образом, старейшее гражданское сооружение города. Так говорит история – но миф с нею расходится. По старому петербургскому преданию, домик Петра представляет собой переустроенную чухонскую хижину. Следы его можно обнаружить уже в собрании «Подлинных анекдотов о Петре Великом», собранных Яковом Штелином по горячим следам, нередко по материалам расспросов непосредственных участников событий. В анекдоте под номером 60, Штелин пометил: «В 1703 году начал он в самом деле полагать основание сего города с крепостью на одной стороне Невы, и Адмиралтейством на другой. Он не нашел в сем месте ничего, кроме одной деревянной рыбачьей хижины на Петербургской стороне, в которой сперва и жил, и которая поныне еще для памяти сохранена и стоит под кровлею, утвержденною на каменных столбах». Конечно, Штелин был профессиональный мифотворец, «профес-

сор аллегории». Его свидетельство следует принимать с поправкой, cum grano salis. Однако оно соответствовало неясному, но устойчивому образу, сложившемуся в сознании петербуржцев. Недаром чуткий к истории А.С.Пушкин не нашел возможным вполне от него отказаться. В подготовительных текстах к «Истории Петра Великого» он поместил под 1703 годом следующее замечание: «В крепости построена деревянная церковь во имя Петра и Павла, а близ оной, на месте, где стояла рыбачья хижина, деревянный же дворец на девяти саженях в длину и трех в ширину, о двух покоях с сенями и кухнею». Здесь получается, что домик был выстроен петровскими плотниками заново, но на старом фундаменте. В итоге получается компромиссный вариант, примиряющий историю и предание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.